И
В13
-04434

АЛЬФРЕДО ВАРЕЛА

ТЕМНАЯ РЕКА

АЛЬФРЕДО ВАРЕЛА

ТЕМНАЯ РЕКА

РОМАН

ПЕРЕВОД С ИСПАНСКОГО
М. БЫЛИНКИНОЙ

ПР-23
№ 80465
AXBOROT - KUTUBXONA MARKAZI

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

И (Латин)
В 18

ALFREDO VARELA

EL RÍO OSCURO

1967

Предисловие
В. ГОНЧАРОВА

Художник
А. ЕРАСОВ

В $\frac{70304\text{-}273}{028(01)\text{-}74}$ 199-74

© Предисловие, перевод, оформление.
Издательство «Художественная литература», 1974 г.

АЛЬФРЕДО ВАРЕЛА — ЧЕЛОВЕК, ПИСАТЕЛЬ, КОММУНИСТ

По-испански она называется Рио-де-ла-Плата, или просто Ла-Плата — Серебряная река. Удивительная это река. Пожалуй, она самая широкая и, может быть, самая короткая в мире. В устье ширина ее достигает двухсот километров, а в том месте, где считается ее начало, более пятидесяти. Воды реки то уходят далеко в Атлантику, то поворачивают вспять во время прилива. Испанские первооткрыватели приняли ее за пресное море — Мар-Дульсе. Чем дальше вверх по реке, тем больше серебряных украшений носили туземцы. Это разжигало алчность конкистадоров. Легенда о серебряных горах гнала их в неведомые дали. Затем легенда развеялась — серебряных гор здесь не оказалось, но мечты о них остались в названии реки и самой страны — Аргентины.

В Серебряной реке вода вовсе не серебристая, а мутная, грязно-желтая, несущая мириады взвешенных частиц краснозема. Темная вода, темная река. Она родит буйную жизнь, но и сеет смерть, несет радость, надежду, но также и горе. Здесь все связано с этой рекой. А образуется она из слияния разных рек и прежде всего могучей Параны, которую индейцы гуарани, испокон веков живущие на ее берегах, называют «родственником моря». Словно гигантская змея, извивается по карте Аргентины голубая линия. Это Парана. Тонкий хвост змеи теряется в беспредельности бразильского тропического леса, где-то на плоскогорье Мато-Гроссо, а ее треугольная голова образует широкую Ла-Плату.

Мы сидим в уютном номере московской гостиницы «Россия». Мой собеседник часами может рассказывать истории, связанные с Ла-Платой, с Параной, чьи темно-бурые воды словно окрашены кровью людей, страдающих, борющихся, гибнущих на ее берегах. Собеседник — аргентинский писатель Альфредо Варела — сетует. Названия некоторых его книг труднопереводимы на русский язык.

Действительно, ну как перевести «Cuba con toda la barba»,— «Куба во всю бороду»? По-русски звучит нелепо. И тут же добавляет: «Мои московские друзья с блеском вышли из сложного положения, которое я, сам того не желая, им создал. Название «Куба революционная» точно выражает саму суть произведения». Что касается «El rio oscuro», то здесь все просто — «Темная река». Под этим названием роман ныне известен, по крайней мере, в семнадцати странах мира, переведен на многие языки, издан миллионными тиражами [1]. В самой Аргентине этот роман был наиболее популярным у широкого круга читателей и был издан самым большим тиражом из всех произведений, принадлежащих перу писателей Аргентины, и, начиная с 1943 года, выдержал шесть изданий. Выдающийся аргентинский певец, актер и постановщик Уго Дель Карриль экранизировал роман. В то время, когда Карриль работал над фильмом, Альфредо Варела находился в заключении в тюрьме Вилья Девото в Буэнос-Айресе. Власти запретили упоминать в фильме фамилию писателя и название романа, на основе которого он ставился. Тем не менее писатель принимал непосредственное участие в создании кинофильма. Постановщик, он же исполнитель главной роли, не раз приезжал к Вареле в тюрьму, чтобы обсудить с ним не только сценарий, но и отдельные детали постановки. Фильм был назван несколько иначе — «Текут мутные воды». Фамилия создателя романа не упомянута. Кинематограф Аргентины, пожалуй, никогда, ни раньше, ни позже, не создавал произведения такой социальной значимости. Лишь слава Уго Дель Карриля спасла от запрета фильм, обошедший впоследствии экраны всего мира. Фильм удостоен премии «Золотой колос» на международном кинофестивале в 1953 году.

Варела избегает говорить о себе, он многое «не помнит», «это не так важно». Лишь вскользь замечает: «Меня особенно радует то обстоятельство, что я родился весной». Действительно, он родился в сентябре, а в Аргентине сентябрь — первый весенний месяц; и Варела остается человеком Весны — жизнерадостным, полным искрометного юмора, неиссякаемого оптимизма, кипучей энергии. «Врачи мне говорят,— продолжает Варела,— что у меня молодое сердце, и это меня не удивляет, я знаю, что ветер борьбы есть самый лучший витамин и самое надежное лекарство для сердца и всего организма».

Разговор вновь возвращается к Паране и ее берегам, поросшим буйным тропическим лесом — сельвой, к живущим там людям, которые ведут тяжелую борьбу за существование.

---

[1] В СССР роман впервые издан на русском языке в 1946 г. в сокращенном виде.

Один путешественник сравнивал девственные тропические леса аргентинской провинции Мисьонес, расположенной вдоль Параны, с плотно набитым матрацем. Умопомрачительное переплетение кустарников, низко опустившихся крон, густой сети лиан — толщиной с корабельный канат или тонких, как шелковая нить, стремящихся ввысь деревьев образует непроходимые дебри. В самый яркий солнечный день в глубину леса не проникает свет. Здесь царит зеленый вечный полумрак. Влажная духота насыщена приторными запахами гнили и цветов-паразитов. Густота леса такова, что великаны деревья не падают, даже отжив свой век. Хитроумные сплетения удерживают их, пока они не превратятся в труху. В этом зеленом аду живут и трудятся люди. Они с боем отвоевывают каждый квадратный метр плодороднейшей красной земли. Здесь нет проезжих дорог и проторенных тропинок. Каждый сам прорубает себе при помощи мачете путь сквозь сельву. Пути разные. Многие из тех, кто трудится в сельве, мечтают, чтобы их путь вывел к свободе, к свету из мрака жестокой эксплуатации, нечеловеческих условий жизни.

Главным богатством тропического леса считается «зеленое золото» — тоненькие веточки и листья деревьев каа, как называли их индейцы племени гуарани. Их сушат над углями, растирают в порошок. Это знаменитый парагвайский чай — йерба-мате. Собственно, йерба — это сам порошок, а мате — это сосуд, маленькая высушенная тыква со срезанным краем. В мате насыпают сухую йербу, постепенно наливают в сосуд чуть-чуть не доведенную до кипения воду, а то и просто холодную. Через трубочку — бомбижу, или бомбилью,— потягивают ароматный настой. Предки индейцев гуарани, пашедшие каа, утверждали, что он «увеличивает духовные силы, проясняет разум». Напиток придает людям силу, утоляет жажду и голод, излечивает раны. Он — панацея от всех бед, физических и духовных. «Матепитие» — своеобразный ритуал, существовавший у индейцев гуарани. Над приготовлением напитка священнодействует «матеро», он передает сосуд по очереди в соответствии с общественным положением присутствующих. Обычай гуарани сохранился до сих пор, и сегодня «матепитие» остается ритуалом, носящим черты обряда. Отказаться сосать йербу-мате через трубку, которую уже сосали другие — оскорбление. Питье йербы-мате было и есть чем-то вроде барометра дружеских чувств. Если путника встречают свежезаваренной йербой, то он может быть спокоен. Словно трубка мира, переходит мате по кругу из рук в руки...

Иезуиты, когда-то основавшие в глубине тропических лесов севера Аргентины свои миссии (отсюда родилось название провинции Мисьонес) для обращения в христианскую веру индейцев гуа-

рани, превратили со временем эти миссии, объединив их административно, в своеобразное иезуитское государство. При миссиях создавались поселения индейцев и земледельческие колонии. Иезуиты заставляли индейцев выкапывать молодые кусты каа и рассаживать их вблизи монастырей. Так появились первые плантации йербы, откуда, сушеная и размолотая, она вывозилась по реке в Буэнос-Айрес, Монтевидео и далее. Увеличивался спрос, увеличивались иезуитские плантации, приносившие изрядный доход. «Матепитие» становилось привычкой, потребностью, хотя святая церковь осуждала его. Инквизиция видела в действии йербы вмешательство нечистой силы и приговаривала к суровой каре тех, кто «предавался дьявольским занятиям». Тем не менее йерба-мате стала национальным напитком не только в странах, расположенных по обоим берегам Параны,— Аргентине, Парагвае, Уругвае, Бразилии, но во многих других государствах Латинской Америки.

«...пробившись сквозь годы и десятилетия,— пишет Альфредо Варела,— прокладывая русло и в наше бурное время, продолжает течь зеленая река йербы, разливаясь по Южной Америке, по ее городам и равнинам, бодря, хотя бы на время, миллионы усталых людей. Но немногие из них догадываются, что этот зеленоватый отвар, булькающий в сосуде — мате, таит страшную трагедию рабочих, пожизненно заключенных в Альто-Паране, в чудесной родине йербы...»

В латиноамериканских странах имеется довольно обширная литература, посвященная жизни и труду людей в тропических лесах зеленого ада. Можно напомнить читателям роман колумбийского писателя Хосе Эустасио Риверы «Пучина», вышедший в переводе на русский язык до войны, известный роман венесуэльца Ромуло Гальегоса «Канайма» и многие другие. Однако «Темная река» — принципиально новое в литературе Латинской Америки, и писателю Альфредо Вареле по праву принадлежит видное место среди передовых деятелей культуры Латиноамериканского континента. В своем творчестве он не только возродил, но и развил лучшие традиции аргентинской литературы. Сила книги — это сила правды. Последовательно и смело автор отображает жизнь без прикрас, такой, как она есть. Страницы романа согреты любовью к простым людям, наделенным горячим сердцем и большой душой. Образы героев выписаны точными и яркими мазками, они думают, говорят, действуют так, как могут думать, говорить, действовать только люди труда. Читая роман, словно собственными глазами видишь его героев, слышишь их голоса. Центральным персонажем книги является мансу Рамон. Он прошел через голод, нищету, унижения, рабский труд на плантациях, побои надсмотрщиков. И по-

степенно из жалкого, забитого пеона вырастает настоящий человек, решительный, готовый на все, с волей твердой, как мачете. Чувство протеста ширится в груди, кровь закипает в жилах. Но он познает мудрую уверенность в том, что всему свое время, учится выжидать. Медленно и упорно вырастает будущий бунтарь. «Когда-нибудь его мачете поработает на другой сафре: полетят головы, забрызгает землю кровь хозяев и капатасов... Он готов выдержать все ради сафры мщения...» На пути одиночки Рамона встречаются люди иного склада. Бразилец Фрутос, рассказывает ему о победном марше колонны под водительством легендарного Луиса Карлоса Престеса, сражавшейся в Бразилии против засилья помещиков. Рамон узнает о том, как пеоны рвали в клочья кабальные расчетные книжки и обманные бухгалтерские гроссбухи, разбивали цепи и колодки.

Аргентинец Перальта разъясняет Рамону смысл федерации пеонов, существующей там, ниже по реке, где йербу собирают на плантациях. Федерация учит рабочих обсуждать свои дела, вместе выступать против хозяев, объединяться для борьбы. «Мы сила, понятно? Когда все, как один, бастуем, ни один пароход с места не двинется... И если наш брат рабочий держится друг за друга, хозяин не пикнет...» Рамон еще не все понимает. Он стремится узнать, что же такое федерация и организованная борьба рабочих. В начале романа, будучи по существу рабом, Рамон плывет вверх по Паране вместе с другими завербованными и обманутыми людьми. Ему приходится преодолевать нечеловеческие трудности, и в финале река несет его вниз, где люди вместе борются за право на жизнь. Верный жизненной правде, писатель не привел Рамона к коммунистам. В те времена на севере Аргентины влияние компартии было незначительным. Отсталые, забитые батраки мало еще знали о мужественной борьбе тех, кто действительно защищает интересы простого народа.

Однако само появление в аргентинском романе такого героя, как Рамон, заслуживает внимания. Рамон искал путь к профсоюзу. Но мы знаем, что он и ему подобные позже находят путь к коммунистам.

Запоминаются женские образы романа. Все симпатии и сочувствие автора на стороне женщин — обездоленных, оскорбленных и униженных труженицы аргентинской сельвы. У читателя не может не пробудиться чувство гневного протеста против строя, при котором женщина низведена до положения животного.

Ненавистью к угнетателям простых людей—капатасам-надсмотрщикам, хозяевам, вербовщикам — дышат страницы романа. В этих отдаленных районах хозяева йербалей — неограниченные властители над душой и телом рабочего-менсу. Символ их власти

кнут и револьвер. Подрядчик Линарес разрядил полную обойму своего револьвера в толпу рабочих лишь за то, что они пожаловались на плохую кормежку. Надсмотрщик Лопес прозван Живодером за жестокие, садистские расправы с рабочими. О кровавых делах Сирито знали все, знали, что в сельве найдены трупы и скелеты более пятидесяти менсу, которых он убил. Особенно выпукло показан писателем хищник Хааг, с садистской жестокостью глумящийся над неопами.

Диаметрально разнится отношение автора к выведенным в романе образам угнетателей и образам тружеников. Вместе с автором ненавидят читатели первых и проникаются симпатией к Рамону, который, несмотря на рабские условия жизни, вначале инстинктивно, а затем все более осознанно ищет выхода, постепенно убеждаясь, что сам он может покарать лишь одного, двух... нескольких угнетателей, но справедливость требует наказать их всех, и эта созревающая мысль воспринимается нами как логическое следствие духовного развития героя.

Симпатии Варелы очевидны не только в созданных им образах людей. В описаниях природы тоже проявляются его любовь и ненависть, мироощущение и социальные устремления. Великолепие тропического леса, могучая сила реки... Природа предстает перед нами живым существом, по разному относящимся к людям. Верой и правдой служила она индейцам. Притаившись, наблюдала за своими врагами. Взметнувшиеся высоко в голубое небо стволы деревьев, красавцев-великанов, все чаще падали под ударом топора. Их губили только ради листвы. И они словно поручают автору сказать, что напрасно их губят, что у них и у менсу есть общий враг — хозяин. Природа — вечная и величественная Парана, непроницаемая и непокоренная сельва, животные и растения протестуют против злодеяний хозяев и надсмотрщиков. Природа — неотъемлемая часть драмы. Она активно участвует в создании душевного настроя героев романа.

Нельзя не отметить богатый, сочный язык романа, особую его роль. Варела часто прибегает к словам и выражениям музыкального языка индейцев гуарани, древних обитателей сельвы. Использование в романе языка гуарани не только придает колорит повествованию, но и как бы подчеркивает, что этот народ достоин лучшей жизни, что он ожидает освобождения и хочет встать в один строй со всеми народами Латинской Америки.

Варела не просто писатель, а писатель-борец, он сочетает художественный вымысел с прямой публицистикой, с фактами, свидетельствами живых героев — неонов, с которыми встречался писатель. Его роман отличается сложным композиционным построением, повествование перемежается лирическими отступлениями

автора, выдержками из документов, газетными заметками. Это придает роману полифоническое звучание.

Конечно, ничто на свете не остается неизменным, с тридцатых годов многое изменилось в жизни Аргентины. Кое-чего добились батраки, отстаивающие свои права, борющиеся за лучшие жизненные условия. Но можно ли говорить о коренных социальных переменах? Нет, как и десятилетия назад, в сельском хозяйстве Аргентины заправляют помещики. Они по-прежнему изгоняют крестьян с их исконных земель. На XIV съезде компартии, состоявшемся в 1973 году, генеральный секретарь партии Арнедо Альварес привел красноречивые цифры: в Аргентине пять процентов собственников владеют 74% земли. До сегодняшнего дня сохранились в сельском хозяйстве Аргентины некоторые кабальные формы труда. Трагедия сельскохозяйственных рабочих-батраков продолжает оставаться одной из наиболее острых тем аргентинской литературы, хотя редкий писатель решается освещать ее с такой правдивостью, как это сумел сделать А. Варела.

Роман «Темная река», сказавший суровую правду о жизни в Аргентине, не утратил свою злободневность, он является одним из значительных и талантливых произведений не только аргентинской, но и всей латиноамериканской литературы.

Замечательна сама жизнь писателя. Альфредо Мартин Педро Варела родился 24 сентября 1914 года в Буэнос-Айресе. Двенадцатилетним школьником Альфредо начал трудиться, он половину дня работал в конторе. Вторую половину дня в конторе проводил его старший брат, и, таким образом, вдвоем они приносили в семью зарплату мелкого клерка. Это было очень большой помощью нуждавшейся семье. Так длилось более шести лет. Удушливая конторская атмосфера, мелкие чиновничьи заботы и разговоры до смерти надоели юноше. Позже, в одной из поэм, он назвал свою контору «дремучей, как бразильская сельва».

Бросив канцелярскую работу, дававшую пусть мизерный, однако гарантированный заработок, Альфредо посвятил себя журналистике. Без гроша в кармане, но переполненный любознательностью и жаждой познать жизнь, он начал бесконечные поездки и походы по Аргентине. Зоркий глаз, наблюдательность помогают ему. Во многие газеты и журналы, столичные и провинциальные, Варела шлет краткие заметки, информации. Он пишет на самые разные темы, описывает и красоты природы, и социальные конфликты. Заметки написаны талантливо, иногда их печатают. Платят мало, сводить концы с концами не всегда удается. Ради куска хлеба юноша не чурается никакой работы. Нет возможности закончить образование. Что ж! Сама жизнь будет его университетом. Он много читает по всем отраслям человеческих знаний, но больше

всего его влечет литература. Несколько позже он будет посещать вечерний народный университет, упорно займется самообразованием и станет образованнейшим человеком.

В 1932 году Варела поступил в Буэнос-Айресе в Театр пролетарского искусства — независимый театр, созданный и вдохновляемый известными аргентинскими артистами и деятелями культуры левых убеждений — художниками Фасио, Эбекером, Абрахамом Виго, актером и режиссером Рикардо Пассано. В этом, как и в других подобных театрах, приходилось делать все: быть актером и администратором, контролером и уборщиком помещения, декоратором. К этому времени он уже вел большую работу в «Антиимпериалистическом альянсе», целью которого была борьба против монополий и иностранного угнетения. «Альянс» и его деятели подвергались постоянным полицейским преследованиям. Вместе с молодым Раулем Ларой и другими литераторами и журналистами, под покровительством маститого писателя Альваро Юнке Альфредо Варела основывает «Ассоциацию молодых писателей», активно сотрудничает также в «Ассоциации интеллектуалов, артистов, журналистов и писателей» — культурном обществе антифашистского направления, ставившем своей целью объединение лиц свободных профессий для совместной борьбы в защиту национальной культуры.

1934 год принес двадцатилетнему Альфредо Вареле событие особой важности, определившее всю дальнейшую судьбу. Его принимают в члены Коммунистической партии Аргентины, из сочувствующего и единомышленника, он становится коммунистом. Вскоре он полностью переходит на партийную работу. С 1936 года по поручению партии ведет активную деятельность в организациях по оказанию материальной помощи республиканской Испании. Партийная печать публикует его многочисленные корреспонденции и статьи на эту тему.

Он откликается серией гневных статей на трагические события, разыгравшиеся в 1936 году в Обера, в Мисьонесе: массовый расстрел безоружных крестьян-колонистов, требовавших земли и справедливых цен на производимые ими продукты земледелия.

В 1940 году Альфредо Варела едет в Мисьонес и другие провинции севера Аргентины. Из этой поездки он привозит богатейший журналистский материал. На север он отправился не по чьему-либо заданию, а для того, чтобы познать интересный край, увидеть своими глазами жизнь и труд людей. Он много слышал и читал об аргентинском севере, но личные наблюдения и собственные переживания ни с чем не идут в сравнение. Впоследствии Варела писал, что провинция Мисьонес его завоевала и ослепила. Великолепие пейзажей и ошеломляющие краски, необозримые тропиче-

ские леса и могучие реки. Там он увидел страшный контраст богатейшей природы с нищетой людей. Он жил вместе с тареферо — резчиками йербы, хорошо познал нечеловеческий быт и тяжкий труд батраков в тропическом лесу, исходил и объездил всю провинцию. Он не искал литературных сюжетов, они пришли сами. Родилась серия статей, опубликованных в ряде популярных журналов, а также и в печати компартии. Обилие материала привело к мысли написать книгу. Этой книгой и стала «Темная река».

Пролетарский интернационализм для писателя-коммуниста не абстрактное понятие, а неоспоримая истина, вошедшая в плоть и кровь, и Варела не мог не обратить внимание на то, что в провинциях Чако и Мисьонес проживают и совместно работают представители тридцати двух народов, люди различных национальностей, рас и цвета кожи — бразильцы, парагвайцы, аргентинцы, индейцы и метисы. Среди них были также украинцы и белорусы, поляки и чехи, эмигрировавшие в Аргентину в связи с безработицей, безземельем, угнетением и бесправием на их родных землях. Они живут и трудятся единой семьей, сообща ведут борьбу против угнетателей, к какой бы они национальности ни принадлежали. Не национальные, а классовые различия разделяют людей. Варела напишет потом поэму о павших в борьбе героях, руководителях прогрессивных крестьянских организаций, о которых народ сложил песню «Чакская марсельеза». Он вспомнит украинца Петре Здебу и белоруса Романа Пастушка, зверски замученных в Чако. В этой поэме он упомянет и о них, чья «славянская кровь смешалась с нашей креольской».

Началась Великая Отечественная война советского народа против фашистских полчищ, вероломно напавших на родину социализма. Гневом и болью наполнились сердца всех честных людей планеты. Компартия Аргентины выступила инициатором и организатором движения аргентинского народа за оказание всемерной помощи Советскому Союзу. Альфредо Варела начинает работать в официальном органе компартии газете «Ла Ора» редактором, а позже, секретарем редакции. В «Ла Ора», а затем и в партийном еженедельнике «Ориентасьон» он публикует статьи, поэмы, стихотворения. Многие из них посвящены героической борьбе советских людей. 31 июля 1941 года «Ориентасьон» опубликовал большое стихотворение Варелы «Мы все с тобой», обращенное к советскому народу, с чьей судьбой народы мира связали свои надежды.

4 июня 1943 года в Аргентине группой высокопоставленных военных совершен переворот. Демократические организации, и прежде всего компартия, подверглись жесточайшим преследованиям. Вареле лишь случайно удалось избежать ареста. Однако через месяц, когда с группой товарищей он пришел в президентский

дворец Каса Росада требовать разрешения на открытие «Ла Ора», то тут же был арестован. Это был не первый арест. Еще в 1939 году его арестовали фашистские молодчики из «Специального отдела полиции по борьбе с коммунизмом». Теперь после освобождения Варела переходит на нелегальное положение. Для того чтобы зарабатывать на жизнь, он пишет статьи и заметки в толстые журналы и на литературные страницы респектабельных буржуазных газет, скрываясь под многочисленными псевдонимами (их было более шестидесяти). Его печатают. Полиция знает лишь некоторые из псевдонимов Варелы. За тем, кто скрывается за псевдонимами, охотятся, но писатель их часто меняет.

В 1944 году в аргентинской провинции Сан-Хуан произошло сильное землетрясение. Разрушения были огромны, бедствия населения ужасны. На место, в Сан-Хуан, приехал журналист из столицы. Перед ним открылись все двери. Представители властей рисовали радужные перспективы восстановления и развития провинции. Журналист внимательно все выслушивал и делал пометки. Вернувшись в Буэнос-Айрес, он опубликовал брошюру «Землетрясение в Сан-Хуане», которой разоблачил демагогию новоявленных правителей. Варела гордится этой работой. Предисловие к его брошюре написал генеральный секретарь партии аргентинских коммунистов товарищ Херонимо Арнедо Альварес.

Великая победа советского народа над фашистскими агрессорами изменила положение и в далекой Аргентине. Власти были вынуждены пойти на уступки. Они объявили о проведении всеобщих президентских выборов. В 1945 году, после длительного перерыва, вновь стала выходить «Ла Ора». Варела активно работает в газете, уже в качестве члена редколлегии, публикует многочисленные корреспонденции, репортажи о жизни и борьбе аргентинских рабочих и крестьян. Широко известна в Аргентине серия его статей об «образцовом» аргентинском предприятии «Фабрика де Альпаргатас», в которых был разоблачен миф о «социальном мире» между рабочими и капиталистами.

Перу Варелы принадлежат репортажи о гражданской войне в Парагвае, о потопленном в реках крови порыве народа к свободе.

В 1951 году сотни индейских семей — мужчины и женщины, дети и старики — отправились из Сальты, Жужуя и других далеких северных провинций в Буэнос-Айрес просить правительство вернуть им незаконно отобранные земли. Участники похода несли с собой древние, периода испанского колониального владычества, документы на гербовой бумаге, скрепленные печатями. Документы подтверждали, что земельные участки принадлежат индейцам и только индейцам. Голодные, оборванные люди шли по улицам фешенебельных кварталов аргентинской столицы, направляясь к

Каса Росада... Но их загнали в бараки иммиграционного управления, а затем, как скот, погрузили в товарные вагоны и вывезли из столицы.

Альфредо Варела не мог оставаться в стороне от этого волнующего, трагического похода. В течение восьми дней шел с индейцами в Буэнос-Айрес неутомимый, неистовый корреспондент коммунистической печати. Вся страна узнала об этом походе голода и человеческого горя из его страстных, насыщенных гневом и болью репортажей. Недаром он пишет о себе:

Не певец на пирушках
для богатого сброда —
я мальчик на побегушках
у моего народа [1].

Аргентинское издательство «Абриль» делает Альфредо Вареле предложение принять участие в подготовке серии художественных биографий. Так появляется книга «Гуэмес и война гаучо» о выдающемся вожде партизан в период войны Аргентины за независимость. Она обращена к молодежи, она зовет любить родину, хранить ее независимость, активно бороться за счастье народа. Книга, тепло принятая читателями, прежде всего молодежью, дважды издавалась в стране.

Жизнь идет своим чередом в круговерти напряженной работы в газете, в выполнении многочисленных партийных поручений. Один за другим следуют аресты. Поводы — разные, часто — без всяких поводов.

Во время очередного тюремного заключения в 1951 году Варела получает сообщение «с воли» об избрании его кандидатом в члены центрального комитета партии. Позже, с XI съезда партии в 1963 году, он, стойкий и мужественный боец, неизменно избирается членом ЦК.

Более года провел в тюрьме писатель. Здесь же в тюрьме Варела получил экземпляр своей книги «Хорхе Кальво — героическая молодежь»,— повесть о жизни и смерти руководителя аргентинского комсомола, убитого в 1950 году бандой террористов, действовавшей под покровительством тайной полиции. Легендарный Хорхе Кальво, своей смертью спасший жизнь членов ЦК комсомола, вошел в революционную историю страны. С большой теплотой и любовью повествует писатель о вожаке аргентинской молодежи. «Герои не умирают, они вечно с нами и служат нам путеводной звездой»,— пишет Варела. Скульптор Биссионе увековечил образ Хорхе в прекрасном памятнике на могиле героя на кладбище в городке

[1] Из стихотворения А. Варелы «Да, завербован» *(перевод с испанского Риммы Казаковой)*.

Кильмес, близ Буэнос-Айреса, а Варела — в повести. Она дважды издавалась в Аргентине, переведена на иностранные языки.

В Аргентине создается специальный комитет борьбы за освобождение Альфредо Варелы, в состав которого вошли крупнейшие деятели культуры и науки, представители общественности. В защиту выдающегося аргентинского писателя, выражая требование советского народа, выступили Фадеев, Сурков, Симонов, Федин, Сафронов, Твардовский и многие другие представители советской культуры. Они гневно протестовали против ареста и тюремного заключения писателя. В середине 1952 года он был освобожден из тюрьмы и вскоре выехал в Европу для участия в работе международных организаций в защиту мира. По возвращении в Буэнос-Айрес в 1956 году включился в активную деятельность в Аргентинском совете мира и был избран его вице-председателем.

При поддержке демократических сил, в том числе коммунистов, в 1958 году президентом Аргентины становится Артуро Фрондиси. Казалось, будет легче дышать. Однако, разорвав в клочки предвыборную программу, забыв все обещания, Фрондиси запрещает деятельность коммунистической партии, вводит в стране осадное положение. Варелу, вместе с десятками других коммунистов, арестовывают в первый же день введения осадного положения. На военном самолете его вывозят на юг, сажают на военный корабль и отправляют еще дальше, на Крайний Юг, равнозначный, по нашим понятиям, Крайнему Северу. Но, несмотря ни на что, люди различных политических убеждений и взглядов были едины в своих требованиях — освободить Варелу и других арестованных, вернуть их из ссылки. Реакция отступила. Пришло освобождение.

Как-то в беседе Альфредо говорил о том, что всегда, когда он подвергался преследованиям, находился в тюрьме, он чувствовал братскую солидарность не только своих соотечественников, но и международной общественности и, прежде всего, советских людей.

Весной 1960 года Варела побывал на Кубе, где впервые в Латинской Америке был зажжен факел свободы и подлинной независимости. То, что он увидел, глубоко взволновало его. Щедрый к людям, он не мог не поделиться с ними радостью первооткрывателя. Он отлично понимает, как важно рассказать латиноамериканцам правду о свободной Кубе, против которой неустанно велась разнузданная клеветническая кампания. За короткое время, проведенное на земле Хосе Марти и Фиделя Кастро, он смог хорошо разобраться в происходящем, понять основные тенденции и движущие силы революции, показать ее друзей и врагов. «Кубинцы,— пишет Варела,— шутят и смеются, свершая свои большие дела. Пашет плуг их Революции, пашет вглубь и идет вперед». Страстно и увлеченно рассказывая о Кубе, писатель помнит обо

всех борющихся и страдающих латиноамериканских народах. «Мне известны язвы на теле моей страны. Я знаю о тяжкой судьбе парагвайцев, о не менее ужасной нищете чилийцев, венесуэльцев, бразильцев и уругвайцев. Я знаю, как тяжело изранена наша чудесная латиноамериканская земля... Мы привыкли к тяжелой, но с каждым разом все более стойкой борьбе наших угнетенных народов. И наконец впервые один из них победил, впервые с неиссякаемой энергией сам строит свою судьбу. Это замечательное событие. Оно поддерживает и увеличивает веру в будущее наших народов-братьев».

В книге «Куба революционная» дана яркая картина первого этапа развития революции на Кубе; политическое чутье Варелы, наблюдательность и умение предвидеть получили блестящие подтверждения в ходе дальнейшего развития революции. Варела неоднократно потом вновь возвращался к теме Кубы. Интересна его большая, содержательная статья «Культура — любимое дитя кубинской революции», опубликованная в аргентинском журнале «Куадернос де культура».

Однажды Альфредо Варела говорил, что неожиданно для себя он начал писать стихи и «опасается, что со временем их наберется на целый том». В 1964 году он написал проникновенную стихотворную поэму «Слово борцам» [1] — прекрасный памятник павшим в борьбе аргентинским коммунистам, его товарищам и друзьям. Лучшие художники Аргентины — Хуан Карлос Кастагнино, Бартоломе Мирабелли и другие — иллюстрировали поэму.

Есть и еще одна сторона многогранной деятельности Альфредо Варелы. Он блестящий переводчик. Все стихи и поэмы выдающегося турецкого поэта-борца Назыма Хикмета, преждевременно ушедшего из жизни, Варела перевел на испанский язык. Партийное издательство в Буэнос-Айресе издало поэтические произведения Хикмета. Скоро в Венесуэле выйдет полное собрание его произведений в переводе Варелы. Они были большие друзья — Назым и Альфредо.

«Недавно я побывал в Стамбуле,— говорит Варела.— Сердце радостно забилось, когда я увидел в книжных магазинах произведения Назыма Хикмета. Как радовался бы этому Назым!..»

Альфредо Варела принадлежит к среднему поколению аргентинских коммунистов. Как эстафету он всем сердцем воспринял заветы тех, кто основал его партию — Викторио Кодовилья, Родольфо Гиольди и других товарищей. Пробным камнем для каждого революционера является прежде всего его отношение

---

[1] Отрывки из поэмы опубликованы в журнале «Иностранная литература», 1968, № 1, в переводе Риммы Казаковой.

к Советскому Союзу и КПСС. Этим заветам был, есть и будет верен коммунист Варела.

Варела впервые приехал в нашу страну в 1948 году. Через советскую печать он обратился с письмом к «Советскому другу», которым он считает весь наш народ.

«Я приехал к тебе из Западной Европы, объятой сумерками, из потускневших стран, по которым, как конь Аттилы, прошелся доллар. Я прибыл оттуда, где растут безработица и недовольство народов. А здесь я увидел людей, склонившихся над станками или над книгами, я увидел их лица, озаренные духом творчества и чувством спокойной уверенности, лица хозяев будущего.

Я прибыл из тьмы в царство света.

Я и раньше знал, что ты строишь социализм заботливо и любовно, как растят сына. Но теперь я увидел это своими глазами на твоих заводах и в детских садах, я ощутил это в разговорах с твоими рабочими, архитекторами, музыкантами, писателями... Их созидательный труд отражен в статистических данных, где каждая цифра свидетельствует о новой победе. Но пусть другие, более сведущие люди занимаются цифрами. Я больше разбираюсь в облике людей, в их песнях, в их тревогах. Я знаю, что иногда на губах сияет улыбка, в то время как сердце гложет тоска. Но смех твоего народа идет из самых глубин его сердца. Оптимизм ощущается даже в твоем воздухе, потому что им дышат миллионы свободных людей».

После того, первого посещения нашей страны, он написал книгу «Аргентинский журналист в Советском Союзе», затем дважды изданную в Аргентине. В предисловии он писал: «Я хотел помочь моим читателям сорвать железный занавес, этот плотный занавес клеветы, который каждый день спускается над Советским Союзом извне, занавес лжи, изливаемый в тоннах печатной бумаги, в потоках слов, в грязной клеветнической пропаганде, на которую тратится столько средств».

Он много выступал с докладами и лекциями о Советском Союзе. Однажды во время лекции в Институте культурной связи Аргентина — СССР в помещение ворвалась полиция. Лектор и около четырехсот присутствующих были арестованы, ибо... «лекция причиняла ущерб национальной политике». Это было еще в 1949 году.

В разгар «холодной войны» начался новый этап жизни, литературной и политической деятельности Альфредо Варелы. Политическое чутье подсказало ему, что, когда на горизонте сгущаются тучи новой войны, войны атомной, для коммуниста нет более важной задачи, чем сделать все от него зависящее для предотвращения угрозы самому существованию человечества.

TOSHKENT ... № 50УС5

Пройдя покрытые пылью и потом дороги Аргентины, он вышел на путь борца за торжество самого справедливого дела — прочного мира на нашей планете. Бухенвальд и Хиросима, пылающие в огне города и села Вьетнама, Ленинград и твердыня на Волге, Лидице и Хатынь, молодые, только что достигшие независимости страны Африки, свободная Куба, страны родной ему Латинской Америки,— где он только не побывал — страстный пропагандист, активный и страстный борец за мир. За какое бы дело ни брался, ко всему он подходит творчески. Эквадорская газета «Эль Пуэбло» писала, что за всю историю движения сторонников мира, ни один из его представителей не произносил в Эквадоре столько убежденных, аргументированных речей в защиту мира, как это делал Варела во время посещения Эквадора. Он беседовал с рабочими и крестьянами, руководителями профсоюзов и политических партий различных направлений, государственными деятелями и представителями духовенства, профессорами и студентами. Он говорил не о чем-то абстрактном и далеком, а о конкретном значении для латиноамериканских стран борьбы за мир.

Варела — один из тех, кто стоял у истоков такого великого движения современности, как борьба за мир. Еще в 1949 году, его, известного писателя, приглашают принять участие в Первом Всемирном конгрессе деятелей культуры за мир, проводимом во Вроцлаве. Затем, в качестве корреспондента, он присутствует на Третьей Чрезвычайной ассамблее ООН в Париже. Здесь, в Париже, он встречается с Фредерико Жолио-Кюри, Анной Зегерс, Александром Корнейчуком и другими зачинателями движения сторонников мира, принимает участие в организации и проведении Первого Всемирного конгресса сторонников мира. Вскоре его избирают членом Всемирного Совета Мира, он работает секретарем Совета. С тех пор не было, пожалуй, ни одного крупного форума борцов за мир, в котором бы не участвовал Варела. В многочисленных выступлениях он решительно разоблачает чудовищные измышления «леваков» о том, что в условиях войн «легче делать революцию». Для гуманиста, любящего жизнь, нет ничего дороже человека. Для подлинного коммуниста, революционера ясно, что в условиях мирного сосуществования революционный процесс не только не тормозится, но и приобретает еще больший размах. С болью и гневом говорит он о враждебной раскольнической деятельности китайского руководства, наносящей ущерб единству прогрессивных сил мира.

Большой вклад Альфредо Варелы в развитие и укрепление движения сторонников мира высоко оценил Президиум Всемирного Совета Мира и наградил его в 1965 году Золотой медалью мира имени Фредерика Жолио-Кюри.

С 1969 года Варела вновь работает во Всемирном Совете Мира в качестве его секретаря, посвятив все силы делу борьбы за мир. Во всей полноте раскрылся его организаторский талант, его качества интернационалиста и вместе с тем горячего патриота Латинской Америки, борца против империализма. Выступая на одном из международных форумов борцов за мир, он говорил: «...не надо допускать путаницы. Наша совместная деятельность не направлена против Соединенных Штатов. Мы не настроены антиамерикански. Мы любим сильный, энергичный народ США и желаем ему быть сердечным соседом. Мы не забыли, что его борьба за независимость предшествовала нашей борьбе и вдохновляла ее, что наши государственные деятели учились у Вашингтона и Линкольна, а наши поэты — у Уолта Уитмена. Но мы решительно отвергаем грубое давление со стороны меньшинства, кучки влиятельных агрессоров, которые третируют нас и хотят навязать нам свои военные планы и превратить наши страны, так щедро одаренные природой, в несчастных золушек».

17 января 1973 года в Свердловском зале Московского Кремля Альфредо Вареле торжественно вручалась высокая награда — международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами». Его сердечно приветствовал председатель Комитета по международным Ленинским премиям академик Скобельцын, представители советской общественности. Они говорили о том, что лауреат широко известен в мире как писатель-публицист, мужественный и стойкий борец, отдавший все силы и энергию делу укрепления мира, свободы и независимости. На посту секретаря Всемирного Совета Мира он сделал очень много для расширения и активизации движения сторонников мира, прежде всего в странах Латиноамериканского континента. Его незаурядные организаторские способности, кипучая деятельность, творческий подход получили широкое признание во всемирном движении за мир на земле... На трибуну поднимается Альфредо Варела. Взволнованно и проникновенно звучит его голос: «Я не могу скрыть своего счастья, получая здесь, в Кремле, международную Ленинскую премию. Я сознаю честь, оказанную мне, и вместе с тем ту огромную ответственность, которую эта награда на меня накладывает. Я сознаю, что эта награда далеко превосходит все мои заслуги, о которых здесь говорили, и вместе с тем она вдохновляет меня в моей будущей работе, обязывает быть достойным столь высокого отличия.

Каждый раз, приезжая в Советский Союз, я все более убеждаюсь, что ваша страна — это гигант с добрым сердцем, чья огромная экономическая, политическая, военная и культурная мощь, поставленная на службу советскому народу, служит всему человечеству. Движимый этим глубоко человечным интернациональ-

ным духом братства, Советский Союз протягивает руку солидарности всем народам, нуждающимся в его помощи, всей своей мощью препятствует попыткам империалистов ввергнуть человечество в военную катастрофу. И все, даже его враги, знают, что самой надежной гарантией против этой катастрофы является твердая, гибкая и последовательная политика мира, проводимая Советским Союзом. Это — главная линия Ленина, развитая применительно к современным условиям XXIV съездом КПСС».

31 октября 1973 года закончился Всемирный конгресс миролюбивых сил в Москве. Сторонники мира продемонстрировали свою волю и решимость сохранить и упрочить мир на нашей планете, навсегда покончить с войной. Альфредо Варела счастлив, он, секретарь Всемирного Совета Мира, внес значительный вклад в подготовку и проведение этого жизнеутверждающего форума человечества. Его ждут новые дела. Он полон планов, мыслей. Столько начатых и незавершенных трудов, столько волнующих впечатлений. Равнодушным после знакомства с Варелой никто не остается. Не может не захватить его энергия, оптимизм, жадное любопытство к окружающей действительности, к людям, страстность в любом деле. Нельзя не верить в этого человека и в то, что он сделает все намеченное. «Самого главного в жизни я еще сделать не успел,— говорит Альфредо.— Время летит быстро. Жизнь чрезвычайно богатая и насыщенная, но впереди у меня еще половина жизни. Чем я горжусь? Моя единственная гордость, отличие, которое я считаю неоценимым,— быть коммунистом!»

В. Гончаров

ТЕМНАЯ РЕКА

ВСКАЧЬ ПО РЕКЕ

Его колени — словно два раскаленных гвоздя, вбитых в зыбкий тростниковый плот. Стопы подскакивают на тростинах, одеревеневшие руки с трудом цепляются за плот,— а значит, и за жизнь,— но коленей от плота не оторвать, хотя они разбиты в кровь.

Он все чаще теряет сознание, шансов на спасение все меньше. Но тут выручает инстинкт, который в смертельной опасности бывает надежнее, вернее разума. Инстинкту неведомы смехотворные человеческие страхи, сомнения, терзания души,— он тотчас откликается на зов жизни, знает, где взять силы и как их применить. Поэтому человек вдруг обретает в себе такую мощь, о какой ранее и не подозревал, поэтому пальцы его рук превращаются в железные крючки, ноги крепко прижимаются к плоту, а колени не отрываются от этой единственной опоры — жалкого подобия твердой опоры — в бурном речном водовороте. На границе безумия, полумертвый от голода и страшного напряжения сил, человек делается зверем, чтобы выжить. Инстинкт заставляет его встать на четвереньки, отказаться от шаткой позы двуногого цивилизованного существа. Он теряет сознание — иногда на миг, а порой на долгие секунды; перед ним проносятся странные видения. Холодные удары воды приводят его в себя, возвра-

щают к жизни. И снова — бесчувствие. Однако инстинкт не дремлет, продолжает быть начеку даже тогда, когда человек, казалось бы, теряет всякую связь с кошмарной реальностью, и в затуманенной голове внезапно всплывают картины прошлого, образы тех дней и часов, когда он был волен сам выбирать себе путь, а не кружиться в взбесившейся речной стремнине. Так бывает, так случилось и с ним: он уже готов распроститься с жизнью и вдруг возвращается к самому ее началу, к далекому прошлому. А настоящее сжимается в комок, меркнет, исчезает. Вместо настоящего вырастает мост, перекинутый из прошлого в будущее. Скорее всего, прямо в смерть.

Ее платье было розовым, розовым и очень длинным, почти до пят. Зато вырез на шее был очень глубок, и, заглянув туда, как заглядывают в колодец, когда хочется пить, можно было увидеть две белых груди с нежными голубыми жилками. Соски прятались в уже невидимых глубинах, но притом вызывающе торчали, обтянутые платьем, особенно когда все платье становилось мокрым: она часто стирала белье в реке. Рамон встречал ее на берегу. И его руки скользили по волнистым изгибам простенького ситцевого платья. Ее длинные ресницы при этом опускались, скрывая карие глаза. Но тут же снова взлетали вверх, а его бросало в жар от ласкового зовущего взгляда. Потом она убегала. Но недалеко: сама позволяла поймать себя. И оба укрывались в тени густолистых курупикаев[1]*. Он хорошо знал укромные места на этом берегу Параны, тихие заводи, где река неслышно и упорно лижет землю, подтачивая своего извечного врага, подбираясь под самые корни прибрежных деревьев. Деревья сопротивляются, цепляясь корнями за каждый ускользающий клочок земли, за топкий ил, чуть ли не за траву, за хрупкое покрывало из сухих веток и листьев. Но вода окружает их, упрямо выбивая*

[1] К у р у п и к а й — разновидность каучукового дерева.

почву из-под ног. Приходит день, и почти бесшумно, устав стонать и жаловаться, деревья падают. Падают там, где родились, но они все же счастливее тех, что рушатся под топором лесоруба. Их никто насильно не увозит из родных краев. Они еще долго покачиваются на воде у берега рядом с собратьями, павшими вместе с ними. Бывает, потом соединяются все вместе в корявый уродливый плот и пускаются в далекий путь вниз по реке. Но чаще тихо кружатся в своих же затонах, сцепленные лианами, не в силах оторваться от своей земли,— ободранные, изувеченные трупы, жертвы мощной Великой реки. И вот туда-то, к этим плавучим кладбищам деревьев, приводил ее Рамон. Там, на грудах сухой листвы, в безмятежном спокойствии полудня, оглушенные безумолчным гомоном птиц, которые, казалось, верещали, чирикали и пели специально для них, они проводили вместе долгие часы. У нее был большой рот,— да, теперь он вспомнил, ее звали Клодомира, а чаще Клода,— большой рот и большие ноги, всегда босые, легко ступавшие по булыжной мостовой поселка, по дорогам, по лесным колючим тропкам; всегда босые, бурые, как земля, по которой она ходила. Он брал ее всегда, когда бы ни пожелал. Когда бы ни встретил. Когда бы ни...

...Ши-с-с-с!.. Его окатывает холодной водой, он едва не захлебывается...

Ша-с-с-с-с!.. Второй и третий удар воды валят его на бок, но рука цепляется за край плота. Инстинктивно он прижимается животом к плоту, вытянувшись во всю длину на толстых тростинах — словно еще одна безжизненная, отдавшаяся воле бурлящих ревущих вод тростина такуары. Только руки, впившиеся в плот, удерживают жизнь в этом теле, которое устремляется в прошлое. Или в будущее, скорее всего, прямо в смерть.

Она была как те плоды, которые он воровал, когда захочется. Как те сочные апельсины, которые он так любил, что мог съесть дюжину зараз. И он бегал к ней чуть ли не каждый день. А бывало, неделями обходился без нее. В общем, брал, когда в том была необходимость. Из всех девчонок тянуло только к ней, но Клода не занимала его мысли. Ему хотелось уехать на степные эстансии[1] *или в лесные хозяйства Чако*[2]*, уйти с пароходами, которые пыхтели вверх и вниз по реке. Далеко отсюда были его мысли, в тех местах, где никогда не бывать большеротой, легко доступной Клоде. Как-то она вдруг спросила, о чем он мечтает, и Рамон выложил все без утайки. Она устроила ему страшную сцену. Молила не уезжать, рыдала, бросалась на шею, ругала отборными словами из жаргона пеонов, а после, раскаявшись, уступила его ласкам и нежным уговорам. Но, опомнившись, снова впала в дикую ярость и готова была выцарапать ему глаза. В конце концов Рамон не выдержал и отлупил ее. Он никогда не принимал всерьез капризы девчонки, но на сей раз отделал ее как следует. Избитая, растрепанная Клода ревела, уткнувшись в траву. Взбучка была крепкая, но плакала она не из-за взбучки. Это было их последнее свидание. На другой день он ушел. Далеко. Туда, где люди живут, постоянно сражаясь с деревьями и зачастую с другими людьми. Сначала направился вниз по реке, а потом поднялся вверх по течению. Он пошел по «Великому несущему пути», по беспокойной Паране, не оглянувшись на рыдающую, растрепанную Клоду с ее податливой грудью, с ее большим ртом и большими босыми ногами...*

И больше никогда о ней не вспоминал. Ох нет! Однажды было. Рамон как-то зашел в киломбо[3] *в поселке Итусаингб и увидел тот же самый большой рот и длинные чер-*

---

[1] Эстансия — животноводческое хозяйство.
[2] Чако — область на севере Аргентины.
[3] Киломбо — публичный дом.

ные ресницы, только ввалившиеся глаза не смеялись, а грустно глядели куда-то вдаль. Он прошел мимо, потом заколебался, но все же выбрал другую, оробев: вдруг та женщина скажет, что ее зовут Клодой. Позже ему сказали, что ее имя — Мария. Но, кто знает... И снова надолго забыл о ней. А вот теперь она привиделась ему в кошмарном полузабытьи, в преддверии смерти, пришла к нему, с распущенными волосами, с узлом белья на голове, как тогда, когда ходила к реке. И он взял ее, высосал, как апельсин, и...

Внезапно в его затуманенной голове застучали, загрохотали, загремели слова старого Синфориано, слова, которые старик так часто повторял: «Тебя выжмут и высосут... как апельсин... а кожуру выбросят, выкинут... как апельсин». Клода была с ним, была рядом, он ее взял, потом выкинул. Выкинул, как кожуру. Но ведь это одно и то же. То же, что делают хозяева с пеоном, как рассказывал старик Синфориано. Приходит парень, берет такую Клоду, будто она... а потом бросает, выки...

Да, с пеонами поступают не лучше: приходят вербовщики, приходят капатасы[1]*, приходит хозяин, приходит еще какой-нибудь сукин сын, они высасывают у тебя все соки и выбрасывают ко всем чертям. Выкидывают кожуру. А кожура эта бывает еще и продырявлена пулями.*

Но Клода здесь, она рядом. Это ощущение так ярко, так сильно, что стряхивается обморочный туман, проясняется сознание. Он чувствует ее рядом с собой. Шевелит пальцами левой руки, пытаясь обнять женщину, но вдруг острая боль пронзает всю руку. Рамон открывает глаза. В каком-то метре от его головы рыба дорадо впилась ему в палец, проколола до крови. Там и сям из бурлящей воды выпрыгивают хищные рыбы. Снова болью стрельнуло в

---

[1] Капатас — надсмотрщик.

руку, вот еще раз, и еще, а ему кажется, что острые зубы кусают не руку, а сердце. Хочется приподняться, отогнать хищниц. Но нет сил. И опять, в сотый раз, он теряет сознание.

Ранчо из чорисо[1] *было низким, но просторным. Снаружи у входа, у двух столбов с кольцами, всегда стояли на привязи лошади: чалые, гнедые, рыжие и всех других мастей. Внутри возле потертой стойки — несколько бочек. Ближе к двери — два стола со скамьями. И больше ничего. Если не считать бутылок, стаканов и здорового кабатчика-итальянца в рубахе с засученными рукавами. Да еще клубы табачного дыма, плывшие над головами посетителей и над копчеными окороками, серые клубы, разрывавшиеся взмахами ножей и хлыстов, привязанных к запястьям. Крики, споры, топот сапог. Все это ему вдруг так живо представилось, будто он опять стал мальчишкой. Будто он, сам ростом не выше иного сапога, поднимает голову, и перед его глазами кружатся, мелькают в дыму бутылки, широкополые сомбреро, куски мяса, черные гривы волос, а перед самым носом толкутся большие грязные ноги. Тогда он был совсем малыш; его толкали, отпихивали, и отец, бывало, совсем терял сына из виду. Когда шел дождь, пол становился скользким от грязи, которую тащили люди на сапогах, и мальчик, чтобы не упасть, цеплялся за чьи-нибудь бомбачи*[2]*, пока его не стряхивали с них, как москита. Иногда он застывал возле столов, где из рук в руки переходили замусоленные колоды карт, где огромные страшные мужчины поднимали стаканы, опорожняя их одним залпом, где ручищи с грязными ногтями скребли в*

---

[1] Чорисо — местный строительный материал: пучки соломы, обмазанные глиной.

[2] Бомбачи — широкие длинные штаны аргентинских батраков.

задумчивости нечесаные бороды, где то и дело сверкал блестящий крест кинжала, где засаленные бумажки перекочевывали из кармана в карман, пока не оказывались наконец в руках кабатчика-итальянца. А однажды Рамон увидел, как один какой-то человек в упор глядит на отца. Кто-то подошел к отцу и что-то ему сказал, мальчик не понял что, а отец опрокинул стол и выхватил из-за пояса нож. Тут подоспел комиссар с тремя или четырьмя жандармами и, оскалив в улыбке зубы под густыми усами, обозвал отца вором и конокрадом. Люди шарахнулись в сторону, чтобы не попасть в переделку, но жандармы не решались напасть на отца, который сжимал нож в кулаке и, не улыбаясь, смотрел на них. Комиссар опять заговорил, но смог сделать лишь шаг вперед,— его остановил блеск клинка, сверкнувшего в руках отца, который успел наклониться и шепнуть сыну: «Беги к коню, скорее». И мальчик стал пробираться к двери, но, невольно оглядываясь, видел, как враги сжимали кольцо вокруг отца, а один крикнул: «Попался, бан...» Однако последнее слово было рассечено ударом отцовского ножа. Отец сражался не на жизнь, а на смерть, его нож покраснел от крови. И едва Рамон успел опомниться, как могучая рука отца вскинула его на круп их серого в яблоках коня, и они стремглав поскакали прочь. Комиссар с порога слал им вслед проклятия, а шальная пуля просвистела у самой головы коня. Тут отец засмеялся и дал, наверное, свой первый и последний совет сыну: «Никогда не робей, сынок. Всегда будь мужчиной, как твой отец, ты слышишь?» И больше ничего не добавил. А они все скакали, скакали, скакали. Рамон потом вспоминал, как мать, узнав о случившемся от соседки, плакала и что-то говорила, говорила отцу. Но отец, по своему обычаю, молчал, не обращая на ее слова внимания. И вот теперь кажется, будто они все еще скачут и скачут и выезжают из темного леса на сером коне, который сильно трясет их и вскидывает, а они выбираются из лесу на свет. Свет все ярче, а ездоки несутся, несутся вскачь...

Занимается заря, и розовеющее небо льет слабый свет на человека, словно стараясь его пробудить. Маленький плот продолжает свою бешеную пляску в речной стремнине. Не отдавая себе в том отчета, Рамон слегка подпрыгивает вместе с плотом, как на лошади, чтобы смягчить толчки; лихо скачет на связанных лианами тростинах по бурлящей реке через пороги Пасо-Сан-Антонио, падает в вихревые воронки, где плот с человеком вертится в водовороте как легкое перышко, которое то затягивает в глубины, чтобы похоронить навеки, то вдруг, яростно раскручивая вверх по спирали, вышвыривает из воды. Вот, пролетев метра три по воздуху, обтрепанная тростниковая плетенка падает со своим пассажиром на вспененную реку. И желтое солнце ласковым коровьим языком лижет Рамона. Он открывает глаза и только тут осознает, что под ним не серый конь и что не из сельвы он выехал, а из тьмы водоворота; только теперь до него доходит, что он каким-то чудом спасся в этой безумной скачке по взбелененившейся реке, которая нещадно била и трепала его... сколько же времени? День или неделю? Ему кажется, что он уже давным-давно отплыл от берега, его тело уже забыло, что такое блаженная земная твердь, и уже не знает больше ничего, кроме этой бездны с жерновами, куда он все падает и падает, потеряв счет времени...

(Лишь по прошествии нескольких часов он понял, что был в водовороте всего минуты три-четыре.)

Наконец истерзанный плот обрел покой. Из кипящих вод попал в тихий затон и стал там медленно, лениво кружиться, размеренно и плавно, будто собирался навсегда остаться в этой водной клети, будто только и оставалось ему вечно вращаться в этой заводи. Рамон с трудом приподнялся и сел. Руки и ноги одеревенели, не подчиняются, и кажется, уже не будут подчиняться никогда. Хочется пошевелить пальцами, а они не двигаются, онемели, со-

всем как чужие. Надо подождать. Немного спустя он шевелит одной рукой, подносит ее к исцарапанному лицу, к избитой груди. Но, выпрямившись, вздрагивает. Болит искусанная рыбами рука, болят все кости, боль отдается в теле при малейшем движении. Он еще раз напрягся, рухнувшись с досады, но опять потерял сознание, а плот все кружится, кружится в тихом речном затоне, таща за собой гирлянды из веток и прелых листьев, в которых запуталась дохлая рыбина, разинув зубастый рот, словно желая заглотать лучи недавно родившегося солнца...

1

Рабочего скота не хватает. Теперь трудно найти молодых парагвайцев в Вильяр-Консепсьоне и Вильярике. Районы йербалей[1] Игатими и Сан-Эстанислао превратились в кладбища. Нещадная тридцатилетняя эксплуатация свела в могилу всех мужчин парагвайцев между Тебикуари-Суд и Параной. Такуру-пуку трижды опустошался компанией «Индустриаль». Почти все пеоны, работавшие в Альто-Паране с 1890 по 1900 год, погибли. Из трехсот человек, вывезенных из Вильярики в 1900 году в йербали бразильского района Тормента, в живых осталось не более тридцати. Теперь охота на людей развернулась в аргентинских провинциях Мисьонес, Корьентес и Энтре-Риос.

Рафаэль Баррет

— Роскошная жизнь...

Навалившись грудью на засаленную стойку и открывая в широкой, радушной улыбке желтые лошадиные зубы, турок не скупился на посулы. Братья слушали молча, устремив куда-то вдаль сумрачный взор. Однако ни одно слово вербовщика не ускользало от их слуха.

— У вас там будет роскошная жизнь... Я вам говорю. Работка — не бей лежачего, а вернетесь с полным карманом. Уж тогда-то выпьете и погуляете вволю. И баб, каких захотите...

---

[1] Йербаль — роща деревьев йербы, из листьев которых приготовляют так называемый парагвайский чай «йерба-мате».

Оба шумно вздохнули, один из них тяжело переступил с ноги на ногу. Как две темные статуи, стояли двое мужчин, замерев в нерешительности. Их прищуренные глаза глядели безбоязненно, но пытливо куда-то вдаль, словно стараясь рассмотреть, что скрывается за обещаниями турка.

— Я уж сотням людей дал работу... Многие жизнь увидали настоящую. Клянусь, я вам только добра желаю, как отец родной...

Братья все еще сомневались. За те недолгие дни, что им пришлось провести здесь, в Посадасе, они уже наслышались страшных историй о жизни менсу[1] в йербалях, там, в верховье реки Парапы. Адольфо мучили дурные предчувствия, ему не хотелось быстро сдаваться. Он уже

[1] Менсу — сезонный рабочий.

всего повидал на своем веку. Долгое время работал на лесозаготовках в Чако, умел зарабатывать деньги, а еще охотнее их тратил; немало натерпелся от людей, но не любил оставаться и в долгу. Теперь, когда ему было за сорок, потянуло к спокойной работе, без надрыва и риска, хотя бы и за меньшую плату: как говорится, старую собаку не скоро втравишь в драку. Он даже подумывал накопить деньжат и приобрести клочок земли с хижиной. Хватит шататься по белу свету, устал. Адольфо качнул головой в знак отказа.

— Не хочешь — оставайся. Поеду один,— тут же выпалил Рамон.

Когда младший брат принимал какое-нибудь решение, выражение его лица становилось вызывающим, почти капризным, как у ребенка. Губы под редкими обвислыми усами упрямо сжались: сказал — и точка. Дрогнули ноздри короткого носа, качнулась грива непокорных каштановых волос, живые острые глаза твердо взглянули на старшего брата.

— Поеду один...

Не впервые ему одному шагать по жизни. Сначала был мальчишкой на побегушках — каждой бочке затычка,— потом стал пеоном в эстансиях на севере провинции Корьентес. Но жилось там впроголодь, и пришлось податься в пампу, в пастухи; там Рамона заела тоска, и он отправился на лесозаготовки. В сельве тоже всякое бывало: голод и поножовщина, тяжкий труд и разные напасти. Чего же еще бояться? Рамон не привык размышлять и взвешивать «за» и «против». Жизнь с ним не церемонилась, да и он ее не слишком ценил. Но легенды Альто-Параны кружили голову, распаляли воображение: огромные заработки, красавицы женщины, танцы и гулянки. Стоит попробовать. Все равно терять нечего.

— Роскошная жизнь...

Турок Фаринья причмокивал при этом серыми, дряблыми губами, слова жвачкой катались под зубами, пожелтевшими от дешевого жевательного табака.

— Ну, как?

Братья случайно встретились в Сан-Томе. Они не виделись лет десять, с тех пор как Адольфо отправился искать счастья в дальние края, ибо дома уже ни крохи хлеба не было. Случайно столкнувшись друг с другом, они решили странствовать вместе. Хотели побатрачить в одной из эстансий Итусаинго, но тут возьми да случись эта

проклятая драка во время игры в кости. Пришлось дать тягу, потому что их могли притянуть к ответу за убийство мошенника, который жульничал без зазрения совести. А «руки» у них нигде не было... В общем, задерживаться в той местности не следовало. Вот тогда-то и попался им на пути турок Фаринья, который вербовал людей в Сан-Томе и предложил им подписать контракт на работу в Альто-Паране. В карманах у них было пусто, вместо рубах и штанов — отрепья, да еще полиция, того и гляди, сцапает. Никогда не приходилось им так туго. Скрепя сердце они согласились приехать в Посадас. И здесь турок пристал к ним как с ножом к горлу, спеша оформить сделку и обещая золотые горы.

— Поверьте мне, не пожалеете. Как в раю жить станете...— бубнил он.

По улице братья брели как потерянные. Еле ноги тащили в рваных альпаргатах, то и дело спотыкаясь о камни. Солнце рушило весь свой жар на их лохмотья, на грязные засаленные сомбреро с уныло обвисшими полями. Вид — под стать настроению. Им повстречалась девушка с ярко накрашенной рожицей; ядовитая зелень короткой юбки ударила в глаза.

— Хорош цветочек... в мой садочек,— кинул Рамон в ее сторону, успев заметить упругие икры под белой оборкой нижней юбки.

Но она даже не взглянула на него. Парня охватила ярость и отчаяние. И он вдруг крикнул брату, зло сплюнув сквозь зубы:

— Ты как хочешь... Я нанимаюсь!

Адольфо не спеша вытащил руку из кармана, отер пот с лица и еще ниже надвинул сомбреро на лоб — солнце палило немилосердно. Потом ответил, кратко, как всегда:

— Ладно. Я тоже.

Адольфо хотелось объяснить Рамону, почему он вдруг решился. Они — родная плоть и кровь, а теперь их еще больше сблизила опасность. К чему снова расставаться? Они — братья, и у обоих нет ни кола ни двора. Надо держаться вместе, оберегать друг друга, подставлять плечо в беде. Иначе и жизнь не в жизнь, и помрешь один, как собака. Адольфо замедлил шаги и уже открыл было рот. Рамон тоже приостановился, полагая услышать что-нибудь важное. Но старший брат сказал лишь два слова:

— Чертовски жарко... А?

В ЗАПАДНЕ

До самого Посадаса доплывают трупы с верховьев Параны. Река безропотно несет их на своей широкой спине. Завидя поселок на горе, она прибивает трупы к берегу, словно желая скорее освободиться от тяжкой ноши. Река ничего не знает или, как сельва, знает все, но молчит. И тела несчастных менсу выносит на берег. Часто они бывают совсем голыми, а иногда в каких-то лохмотьях. Порой вода выбрасывает обглоданный скелет. Подходят любопытные, но, поглазев немного, быстро удаляются. Картина слишком хорошо знакома, да и опознать мертвеца дело трудное. У мертвецов из Альто-Параны нет ни имен, ни фамилий. Нет даже лица — хищные рыбы оставляют только пустые глазницы, обглоданный череп да оскаленные зубы вместо рта, который когда-то шептал слова любви, о чем-то просил или изрыгал проклятия. Мертвецов из Альто-Параны никто не узнает. Никто не ведает, за что и как их убили. Да их и некому опознавать. Власти не хотят дознаться до истины, а все остальные не хотят иметь дело с властями. Бывает, прачки, спустившись к доброй большой реке, чтобы украсить ее берега пестрой мозаикой белья, находят у камней одинокое недвижное тело. Тогда они только испуганно крестятся и что-то быстро бормочут на языке гуарани.

И все же жителям Посадаса известно многое. Это их общая страшная тайна. Они видят, как от причала отходит пароход с менсу. А вскоре, ночью или днем, река приносит труп. За ним второй, третий. Тела плывут тихо и мирно, задерживаясь у прибрежных скал. И потому, прощаясь с теми, кто отправляется в Альто-Парану, в верховья реки, с ними прощаются навсегда. Конечно, кто-нибудь и вернется. Но вернется одинокий, мрачный, оборванный, исполосованный хлыстом. И потому на проводах менсу канья[1] *льется рекой, чтобы никто не думал о грядущем. Те, кто остается, знают, что, не напейся они, им вместо мертвецки пьяного, но полного радостной надежды менсу будет чудиться утопленник, тихо лежащий у берегов Посадаса под этим вот огромным небом, единственный жгучий глаз которого — солнце — все видит.*

---

[1] Канья — водка из сахарного тростника.

2

— Найдете меня в таверне «Жемчужина»,— сказал им турок.

Туда и направились братья, потные, усталые, голодные. По правде говоря, даже Рамон еще ничего не решил окончательно. Им хотелось в последний раз потолковать с Фариньей. Однако дела их были так плохи, что оставалось только подписать контракт. Словно какая-то неведомая злая сила медленно, но верно толкала их на этот новый путь, который терялся где-то в тумане. А между тем у них сводило кишки от голода.

— Посмотрим, что еще наобещает этот тип,— пробурчал Рамон, когда они переступили грязный, обитый порог таверны.

Фариньи там не было. Внутри царил полумрак, и поначалу можно было разглядеть лишь больших блестящих мух, тяжело круживших по комнате. За столиками сидело несколько посетителей, с виду — метисов. Не выходя из-за стойки, хозяин, лысый и толстый, пригласил их сесть.

— Он велел подождать, сейчас придет.

Внимание Рамона и Адольфо привлекла хриплая музыка, звучавшая в глубине зала. Огромная темно-зеленая граммофонная труба лениво роняла звуки, словно и она разомлела от жары.

— Если желаете, можете выпить чего-нибудь. В долг...

Приятно, когда тебе верят в долг, да еще таким голодранцам, ведать не ведающим, как и чем придется расплачиваться. После первых же глотков каньи жизнь показалась братьям не столь уж мрачной. Теперь и музыка загремела веселее, словно будила их ото сна и была готова закружить обоих в польке. Но Рамон хотел есть. Почти двое суток они не брали в рот ни крошки, и спиртное сразу ударило в голову, притупляя волю. Обуяло желание закусить удила и нестись неведомо куда, туда, где сам себе уже не принадлежишь.

— Поесть бы чего...— обратился он к Адольфо.

Однако хозяин строго следовал приказу и угощал только каньей. К их столику подсели другие менсу, и вскоре вокруг них собралось человек двенадцать — тринадцать. Тут братья Морейра забыли обо всем — знай наших!

— Ну-ка... Давайте на всех... И пива тоже!

Коротышка парагваец в яркой рубахе даже языком

прищелкнул от восхищения. Пива! Да на всех! Это вам не водка, барский напиток! Реалов десять стоит, не меньше. Ему не захотелось отставать:

— Ого-го! А потом мой черед платить, приятель! Мне тоже верят в долг, слыхал?

— Давай...

«Вьются пчелы в густой кроне...» — пел кто-то из зеленой трубы. Пластинка была изрядно заиграна, голос противно верещал и скрипел.

Веселье разгоралось. Звенели, чокаясь, стаканы, все говорили хором, и лишь иногда из гама и шума вырывался чей-нибудь звонкий возглас. Какой-то старик с жаром бил себя в грудь, стараясь привлечь внимание.

— Я — настоящий криожо[1], понятно? Родился в Энтре-Риосе, чтоб вы знали... Коренной энтрерианец, чтоб вы знали...

И снова стал колотить себя в грудь, но никто не смотрел на него, все галдели, языки развязались.

— Валили по двенадцать кедров в день... И дон Селе сказал мне: «Молодец ты, парень...»

«Уже нет того Парагвая-а-а, где мы родились, и ты, и я-а-а...» — визжал, не умолкая, граммофон.

— А потом мы нашли огромный йербаль и вкалывали там вовсю, но, как только полили дожди, нас всех рассчитали...

— Эх, чего уж там! Сволочное место эта Альто-Парана! — вдруг рявкнул один, по имени Синесио, и тремя глотками осушил большой стакан каньи.

Старик энтрерианец был уже вконец пьян и уныло напевал, пощипывая струны гитары:

---

[1] К р и о ж о — креол, уроженец Латинской Америки.

Многих друзей моих в смутное время [1]
сгубила убийца-вербовка...
Многих прикончил умело и ловко...

«Кричи, стопи, зови «ау», зловещая урутаý...» [2]

— А лесорубам почти не платят, чуть ли не задаром гнешь спину...

— Я плачý! Бери, пей, приятель!..

...кровавый убийца Медина.
Так в пасти свирепого волка
невинная гибнет скотина...

— Дай мне каньи... Пиво пи к черту...

— Хороший-то лесоруб может кое-что заработать... Только нелегкое это дело, мало кому под силу...

«Уже нет того Парагвая-а-а, где мы родились, и ты и я-а-а...»

---

[1] Имеются в виду междоусобные войны в Аргентине в XIX в.

[2] У р у т а у — вид латиноамериканского козодоя. Эта ночная птица, согласно индейским поверьям, приносит несчастье.

— Да здравствует Парагвай, чтоб ему пусто!..— заорал коротышка парагваец, и все звонко чокнулись.

Пропали в то страшное время
Феррейра и Сесар Диас.
Собственной кровью умылись
Эспиноса и Кабальеро...
Жуткое было дело...

— Да заткнись ты, старик,— гаркнул на него один менсу так яростно, словно хотел убить на месте. Но тут же сам свалился со скамьи и захрапел.

— Я завтра отчаливаю, знаешь? — доверительно сказал другой менсу соседу.

— Я тоже...

— И я... На «Ибера́», туда... Меня всегда сам дьявол сводит с «Ибера»...

— Мы тоже едем!..

Выпалив это, братья переглянулись. Когда же они успели решиться? В общем крике и шуме, среди безудержного пьяного веселья и новых друзей-товарищей, обретенных за стаканом жгучей каньи, некогда было раздумывать о собственных делах. Они уже варились в общем котле, а потому судьба всех стала и их судьбою. Они просто пошли со всеми вместе. И выкинули из головы прежние страхи и сомнения.

«Камбай [1] не смог их победить, из-за угла решил убии-ить...»

— Выпьем на дорогу!

— Урра!

— Давай чокнемся!..

Какие же парни задаром пропали,
каких же парней загубили...
Они справедливость и правду любили...

— Замолчи, старик! Пей и не каркай!

...и были за это убиты...
Расправились с ними бандиты...

— Я вас приветствую!

Около них стоял Фаринья. Он уже успел поговорить с хозяином таверны, внимательно оглядел присутствую-

---

[1] К а м б а й — так называют в Парагвае и в северных провинциях Аргентины бразильских негров.

щих и только тогда подкрался к столикам. Пожал каждому руку и даже выпил с ними за их счастье и удачу в Альто-Паране.

— Все-то ты врешь! — вдруг крикнул ему в лицо вскочивший на ноги Синесио.— Врешь почем зря... Я-то хорошо знаю, как там живется. Сущий ад! Меня туда на аркане не затащишь!

И он снова опустился на скамью, а остальные уставились на него в угрюмом, почти трагическом молчании. Вытащив из кармана пачку денег, Синесио сунул их под нос вербовщику.

— Вот сколько, видал? И больше меня туда не заманишь!..

Он не смог продолжать: голова тяжело рухнула на гладкие доски стола, тело вздрагивало от икоты. Фаринья спокойно смотрел на него, а потом обратился к остальным:

— Не слушайте его... Пьяница, налакался как свинья... Сам не знает, что мелет...

Теперь уже звучала другая граммофонная пластинка, и печальный голос пел жалобную песню: «Маршал Лопес, когда ты пал в бою...»

Синесио уже спал, громко храпя. Все и думать забыли о его словах, снова посыпались шутки, зазвучали оживленные голоса. Кто-то вылил бутылку канья на голову старика энтрерианца, задремавшего на полу. Едва тот раскрыл глаза, как тут же, с места в карьер, опять затянул свое:

...револьверы к груди им приставили гады,
и он понял: не ждать им пощады...

— Замолчи, старик...

Все столпились вокруг Фариньи, который быстро заговорил:

— Вот, это для вас. Тебе — сто песо. А вам обоим — двести. Задаток. А это для тебя...

...и сказал: «Прощай, жизнь молодая,
прощай, родина-мать доро...»

Тут двое дюжих парней схватили старика, а заодно и Синесио, и потащили обоих к дверям. Рамон увидел, как они катились потом до самой канавы. Вслед за ними полетела и гитара. Но его снова привлек голос турка:

— Вот вам расчетные книжки... Распишитесь. Так. А теперь можете получить все, в чем нуждаетесь. Ну, кому чего надо?.. Пончо, бомбачи? Пошли со мной.

Пол под ногами покачнулся и, казалось, стал куда-то ускользать. Братья Морейра с трудом поднялись из-за стола. Но им удалось в обнимку добраться до двери, а за порогом вечерняя прохлада немного их освежила. В голове Рамона продолжал визжать и гудеть граммофон. Перед глазами вертелась пластинка, все быстрее и быстрее, и это его очень забавляло. Он не выдержал, стал посмеиваться, потом громко засмеялся и, наконец, захохотал во все горло, звонко и неудержимо. Вербовщик остановился и оглянулся на него.

— Ты чего?

Рамон не сразу сообразил, что ответить. Граммофон вдруг умолк, и он оказался в пустоте, совсем один. Держась рукой за стену, чтобы не упасть, пробормотал:

— Да... вот... Утром уеду на парохо...

Турок осклабился, выставив желтые зубы.

— Правильно! Роскошная будет жизнь!..

Но секундой позже улыбка слетела с его лица, серые, дряблые губы поджались, и он зашагал вперед так быстро, что братья Морейра едва успевали за ним.

3

Когда он открыл глаза, солнце уже сияло вовсю. Как приятно растянуться на мягкой кровати, под настоящей, довольно чистой простыней. Можно не спеша припомнить то, что произошло накануне. Но в голове все путалось, на душе остался какой-то неприятный, горький осадок. Горечь, казалось, подступила к самому горлу, чувствовалась во рту. Он встал и начал одеваться. Постепенно в сознании всплывали вчерашние события, но все представлялось неясно, в тумане. Вдруг вспомнился флакон духов... и картина за картиной стали вырисовываться яснее. Они побывали у женщин, а потом турок повел их в лавку покупать одежду. Ему, Рамону, почему-то вздумалось прихватить с собою и женщину. Как бишь ее звали? Он в смущении почесал кончик носа: нет, не вспомнить. Имя не помнилось, а вот ее крашеные волосы и полная грудь так и стояли перед глазами. Он вылил себе на голову кувшин воды, прохладные струи растеклись по шее, быстрые капли засту-

чали по полу... Вот так же, струями, текли вчера духи по шее и по груди женщины. Сначала он купил ей большой платок, а потом она попросила юбку в широкую синюю полосу. Рамон купил и юбку. И вдруг почувствовал себя удивительно счастливым, счастливым оттого, что сегодня есть деньги, а еще вчера он был нищим оборванцем; счастливым оттого, что окружен вниманием женщин, что ему продают в кредит, что началась чудесная жизнь, которую обещал им турок, и можно наслаждаться этой жизнью, которая наконец улыбнулась им, весело подмигнув. Ему тоже стало очень весело, и он купил несколько флаконов духов со сладким, будоражащим запахом и подарил женщинам, заполнившим лавку. Его пышногрудая крашеная подруга не захотела тотчас открывать флакон, как он ее просил, и тогда Рамон сам вырвал пробку и стал лить ей духи на шею. Она отбивалась от него, уклонялась, а он хохотал и радовался, как мальчишка, и лил, лил сладко и резко пахнущую жидкость ей на волосы, на шею, на платье, которое, намокнув, обрисовывало груди, облепляло живот. Рамон, совсем захмелев, целовал ее и, стараясь нащупать рукой мокрое, разящее духами тело, смеялся как безумный. Потом женщина сильно толкнула его. Он упал и больше ничего не помнил. Но все это было так приятно и...

— Mbaeicha pa ndé coé... [1] — сказал кто-то сзади.

Он обернулся. На него, улыбаясь, глядел Адольфо.

— Mbaeicha, pa... Чего ухмыляешься?

— Ничего... Ну и набрался ты вчера...

— Да и ты...

Оба явно любовались друг другом: вместо рубищ на них были красивые рубашки в черно-белую клетку, на ногах взамен рваных альпаргат — мягкие полусапожки из лошадиной кожи и длинные полосатые носки, натянутые на бомбачи; на шее — яркие японские платки с зелено-желто-красной искрой, а талии перехвачены широкими поясами, тоже красноватого цвета. На голове у Рамона красовалось широкополое сомбреро, а у Адольфо на затылке сидела круглая фетровая шляпа с черной лентой, как у заправского хозяина эстансии. Они оделись во все новое с головы до ног да еще сложили про запас кое-какую одежду в большой сундук с овальной крышкой, купленный на двоих. Они оглядели друг друга и снова улыбнулись, счастливые и довольные.

---

[1] Добрый день *(гуарани)*.

4

На улице братья почувствовали себя совсем героями. Они и думать забыли, что пришли вчера в Посадас голодными, оборванными бродягами. Теперь мужчины на них оглядывались, а женщины посматривали с нескрываемым интересом. Нищета и забота о завтрашнем дне, казалось, навсегда канули в прошлое. В карманах позвякивали монеты, глаза блестели, душа радовалась. Оставалось поработать несколько месяцев там, в верховье Параны, а потом можно будет вернуться, сколотив капиталец, как уверял турок. Они подрезали свои лохматые шевелюры и начистили до блеска обувь. Жара стояла невыносимая, но Рамон и Адольфо ни за что не сняли бы с себя новехонькие яркие пончо, с нарочитой небрежностью накинутые на плечи. Братья Морейра решили наведаться в местные таверны.

В кабачке «Маршал Росалес» они встретили вчерашних знакомых, завербованных одновременно с ними. За радостную встречу опрокинули несколько стопок поднесенной им каньи.

Сами они тоже были готовы поить и угощать весь свет, и в «Эль Кабурей» заказывали пиво и канью для всех, кто к ним подсаживался. Везде их встречали как дорогих друзей. В «Альто-Паране» братья решили пообедать, и многие тут же к ним присоединились. Были женщины, был и граммофон, правда поновее и позвучнее, чем в «Жемчужине». Никто не отказывался повеселиться за их счет и помочь им разделаться с пачками денег, отягощавшими карманы.

— Урра! Завтра едем...

— Гуляй, ребята!..

Песни, крики, шутки неслись из-за плотной завесы едкого табачного дыма, звенели стаканы, то и дело взлетая над столом и чокаясь. Наконец братья Морейра снова оказались на свежем воздухе, захмелевшие, но готовые гулять еще хоть целые сутки. Вдруг кто-то их окликнул. За ними бежал какой-то человек.

— Эй! Друг!.. Послушай... Да стой же!

Адольфо узнал Баэса. Это был его старый приятель, с которым они делили радости и невзгоды в лесах Чако. Вместе стучали топорами от зари до зари на заготовках кебра-

чевого [1] дерева. Готовили один мате [2] на двоих, спали под одной крышей и даже с одной и той же женщиной, Хулией, которая стряпала для десяти лесорубов и не отказывала им и в других просьбах.

Баэс пригласил братьев отпраздновать встречу. Крепкая водка гуалипола разогрела их еще больше, друзья пустились в воспоминания. Сидя за дощатым столом с вырезанными на нем чьими-то именами, они припоминали забавные случаи из былой жизни, трахая в азарте кулаками по столу, который трещал под их ударами и, казалось, вздрагивал от громовых возгласов и диких взрывов хохота. Вдруг кто-то вспомнил, как подрядчик Линарес однажды осадил недовольных пеонов, разрядив в них револьвер только за то, что они пожаловались на плохую кормежку. Друзья приумолкли,— даже спустя годы трудно было примириться с унизительным отступлением. Но уже через минуту-другую они опять хохотали до слез (капья делала свое дело), вспомнив об озорной выходке Баэса. Это было, когда умер от какой-то заразы надсмотрщик Корреа. Приятели явились на похороны, опорожнив на радостях не один стаканчик. Среди общего молчания Баэс, растолкав людей, добрался до гроба. Посмотрел на покойника, посмотрел, а потом как ущипнет его за руку.

— Хочу сам убедиться, взаправду ли он помер...— объяснил он окружающим. И так был доволен своей проделкой, что даже не почувствовал зверских затрещин, которыми его наградили, прогнав с похорон.

Очередь дошла до Рамона.

— Было это в ту пору, когда отдал концы бедняга Пас...— начал он.

Менсу играли в карты в той же компате, где лежал покойник; играли при свечах, стоявших у гроба. Возгласы игроков смешивались с причитаниями старух, которые отпевали усопшего за два реала «па рыло». Вдруг один из игравших открыто сжульничал. Остальные взорвались бранью, обнажили ножи и мачете. Кто-то успел погасить свечи, и началась страшная потасовка.

— Ну и резня была! Поглядели бы на эту свалку!

---

[1] Кебрачо — дерево с твердой древесиной, содержащей дубильные вещества.

[2] Мате — так называют, кроме отвара йербы, сосуд из маленькой круглой тыквы или металлический, в котором заваривают йербу.

Старухи-плакальщицы заголосили как сумасшедшие и сразу же сбежали. А в темноте бились, спотыкались, звенели ножами игроки. Когда зажгли свет, гроб валялся в одном углу, а мертвец — в другом...

— Да, поиграли мы тогда, вовек не забыть...

Один рассказ сменял другой, парагвайская настойка приятно обжигала горло. Наконец речь зашла и о вербовке. Баэс привез толику денег из Альто-Параны. Подумывал обзавестись лавчонкой в пригороде Посадаса, а может быть, на худой конец, наняться коневодом в одну из эстансий в Мерседесе. Братья тоже поведали ему свои заботы.

— ...и сулил нам большие деньги...

— Вот оно как... Меня тоже турок зацапал... с год назад. Я ему это еще припомню. Послал меня в Парагвай, в Пуэрто-Хенераль-Диас. Обещал: мол, будешь ездить на коне, как надсмотрщики. Так и вышло. На коне... на полудохлой кляче... Возил туда-сюда, как последняя сволочь, мешки с припасами да листьями йербы. Пропади пропадом такая жизнь!

И Баэс без особого труда нарисовал мрачную картину пережитых мытарств. Отправился он в сельву с одним сундучком, в котором было две смены белья. Восемь месяцев держали его при лошадях и мулах. Погонщики и возчики спали на охапках тростника. Бывало, среди ночи надсмотрщик будил их ударами мачете по голым пяткам или, чтобы они быстрее поднимались, палил из ружья над самыми их головами. В полнейшей темноте приходилось запрягать мулов. За то, что он возился почти круглые сутки со скотиной, ему давали только тридцать песо в месяц. Из этих тридцати приходилось еще платить за обед. Через десять месяцев ему удалось возвратиться в Посадас с восьмьюдесятью песо, которые он спустил в первый же день, сам не зная где и как. Затем он завербовался вторично и оказался в Пуэрто-Истуэте.

— Если сумел оттуда вернуться, считай, что повезло,— сказал Баэс, хлопнув в ладоши, чтобы еще подали капьи.

Он чудом вырвался из рук Сирито, хозяина местных йербалей. Его должны были наказать за грубый ответ надсмотрщику Лопесу. Сущий зверь был этот Лопес, прозванный Живодером за жестокие расправы с пеонами. Любил пускать в ход большой острый нож, каким режут скот. А до пытки запирал людей в темный погреб, кишевший крысами. Там на стене каталажки кто-то нацарапал собственной кровью: «Это прибежище несчастных менсу...»

— Альто-Парана... Я-то эти места хорошо знаю.— И Баэс, отхаркнув, сплюнул с презрением в сторону.

— С нами завели разговор о вербовке еще в Сан-Томе. Потом мы пришли сюда...

— Ну, понятно. Сами видите, здесь им уже никого не поймать на крючок. Кто не сдыхает там, в верховьях, хиреет и помирает позже. Некоторые, как я, вовремя спохватываются и больше туда не лезут. Чтобы набирать людей, которых не хватает, им приходится идти в глубь Парагвая или доходить до Корьентеса и даже ниже... Я так вам скажу: вы мне друзья, но решайте сами. С меня же хватит!

Наступила долгая тишина. Мужчины молча сидели, сгорбившись, у стола с бутылками. Яркие лучи солнца наискось били в лица, углубляя впадины глаз, высвечивая скулы, лосня смуглую кожу. Мрачное раздумье овладело братьями, склонились головы под тяжестью нахлынувших мучительных сомнений. Припомнилась прежняя жизнь — жестокая, страшная, снова грозившая их засосать. Ее улыбка опять обращалась в гримасу после правдивых рассказов Баэса за этим дощатым столом, где еще можно было различить имена, видимо, давно вырезанные ножом: Анастасио Альберто Перес... Бра... лио Олме... Многие буквы уже стерлись. Их стерли годы и руки сотен людей, здесь сидевших. Наверное, владельцы этих едва различимых имен тоже стерты с лица земли, загублены в одном из обманчиво привлекательных портовых городков в верховьях Параны и никогда больше не вырежут своих имен ни на одном столе, ни в одной таверне.

Адольфо откинул седую прядь волос, упавшую на щеку, и снова приложился к бутылке. Но теперь обжигающий напиток не доставил никакого удовольствия. Он понял, что они попали в западню.

5

— Ладно, пошли тогда на Бахада-Вьеху...

Коста-Ньяро, Коста-Дульсе, Коста-Брава...[1] Булыжные мостовые, деревянные, а порой даже каменные дома. Женщины, профессию которых нетрудно угадать, выглядывали из дверей или сидели у стен на плетеных стульях, наслаждаясь ветерком с реки. Были среди них высокие,

[1] Бахада-Вьеха, Коста-Ньяро, Коста-Дульсе, Коста-Брава — улицы в Посадасе.

полнотелые, статные. А других подтачивала неведомая им болезнь, которая сушит лицо, обтягивает желтой кожей худые скулы, придает неестественный блеск глазам, проваливает нос. Наверняка они были когда-то красивы. Но в Альто-Паране молодость проходит так же быстро, как сверкающие молниями тропические ливни. И наступает пора неопределенного возраста, когда женщина, еще не достигнув зрелости, уже утрачивает девическую свежесть. Потом вдруг приходит старость или смерть. А до того они всеми силами стараются сохранить привлекательность или хотя бы некоторую миловидность, чтобы завлечь менсу. Если однажды это перестанет им удаваться, никому не нужные жалкие нищенки затеряются и погибнут в водовороте бурной жизни Посадаса.

И вот они стояли в дверях, выставляя себя напоказ,— аппетитное зрелище для изголодавшихся менсу. Черные волосы гладко причесаны и намаслены, у иной украшены большим торчащим гребнем. К проходящим мимо мужчинам летели ласковые слова, тянулись руки. Об этих женщинах мечтали лесорубы, погребенные в глухой сельве, о них думали тареферо [1] бессонными ночами на своих узких койках, страдая от желтой лихорадки. К ним шли, когда наконец могли ненадолго вырваться из рабства и устремиться в теплые объятия, неистово целовать податливое гладкое тело, прижимаясь к нему своей жаркой, потной, дубленой ветром и солнцем грудью. Женщины! Вот они наконец. И устремления менсу изливались в радостном смехе при виде их, дерзких и зовущих, поджидающих возле каждой двери.

Одна из них, самая бойкая, встала у мужчин на пути.

— Иди сюда.— Она двинулась к Баэсу и схватила его за руку.— Иди, развлекись немного.

Он вырвался, оттолкнул ее, но успел скользнуть рукой по груди.

— Попла ты... Мне не по вкусу тощие куры! — со смехом бросил он под дружный хохот приятелей.

— А ты попробуй, узнаешь, какая я.— И что-то добавила вполголоса, причмокнув губами.

Баэс шагнул к ней.

— Ладно, но сначала поглядим. Ну-ка, eyerepi che' ama... [2]

---

[1] Тареферо — сборщик и резчик йербы-мате.

[2] Подними юбки... *(гуарани.)*

Их окружили другие женщины, с интересом наблюдая за перепалкой.

— Гляди-ка, Цветик, как с тобой обходятся...

Она, напрягшись всем телом, не сводила с прохожего вспыхнувших гневом глаз.

— Ну, ты, не нахальничай...

— Да? А если я, как пришел, так и уйду голодный?..

Стерпеть такое оскорбление ей не позволяла профессиональная гордость киломберы [1]. От ярости у нее побелели щеки, медово-ласковые уговоры сменил истошный крик:

— Свинья! Сволочь...

Кошкой кинулась она на Баэса, но он увернулся и догнал приятелей. Вокруг уже собралась толпа любопытных.

Когда трое мужчин заворачивали за угол, немало позабавившись этой сценой и хохоча от души, до них еще долетали крики взбешенной женщины:

— Пес паршивый!.. Аñá membuy!.. [2]

ЗАВОЕВАНИЕ

Раньше были времена блаженного неведения. Местные индейцы считали себя единственными счастливыми обладателями йербы-мате. В ту пору йерба-мате была им другом. Один из самых добрых индейских богов научил людей сушить и отваривать душистый каа [3]*. Гуарани и другие индейские народности пристрастились к этому жизнетворному напитку. Отвар йербы приносил душевное спокойствие, освежал в жаркий день, исцелял от всех желудочных заболеваний, а порою аппетитный напиток заменял скудный завтрак. Люди лечили сухой или свежей йербой раны, посыпая их порошком или прикладывая к порезам листья. Знахари делали из йербы лекарственные мази, «чтобы врачевать ушибы, вывихи и переломы», и все пили прохладный мате, чтобы обрести силу в расслабляющих знойных тропиках...*

Но вот забурлил океан, вышли реки из берегов, а небо, расколотое молниями, возвестило о страшных грядущих бедах. Пришли белые завоеватели-конкистадоры. И с тех пор, где бы ни росли эти деревья с темно-зеленой упругой

---

[1] Киломбера — проститутка.

[2] Букв.: сын сатаны *(гуарани)*. Здесь: сукин сын.

[3] Каа — йерба-мате *(гуарани)*.

листвой, туда вторгались несчастье, насилие, рабство. Всюду в жарких таинственных дебрях Альто-Параны зеленые пятна йербовых рощ темнели, обагряясь кровью индейцев. Сначала были индейцы... Под властью энкомендеро[1] они голодали и нищали, работая с утра до ночи. Генерал-губернатор Эрнандариас вынужден был сообщить королю в 1618 году, что скоро все рабы переведутся здесь, в Гуайре, «...где у них отобрали земли с диковинными деревьями, из листьев которых приготовляют полезный напиток, пришедшийся по вкусу испанским воинам. Испанцы заставляют индейцев тащить на себе тюки с листьями многие лиги из глубины страны по дремучим лесам и бьют их при том жестоко...»

Скрепленные печатями бумаги пересекали океан туда и обратно, содержали мудрые и торжественные постановления, но в сельве гибли тысячи индейцев под тяжестью каа, переставшего быть их другом. Буэнос-Айрес и Санта-Фе пристрастились к чудесному напитку, который пренебрегал границами колоний, преодолевал огромные расстояния в медленно тащившихся повозках и в конце концов достигал Чили, Потоси́, Лимы. И никто не знал, что обжигающий напиток йерба-мате оттого так горек, что вобрал в себя боль и страдания индейцев, погибших во имя расцвета новой отрасли хозяйства.

Иезуиты, однако, были недовольны. Один особо яростный последователь святого Игнасио Лойолы доносил инквизиции Лимы о неблагоприятном воздействии йербы-мате:

«Хотя как будто бы и нет в том большого греха, дьявольская приверженность к сему зелью наносит великий вред... Во-первых, индейцы, а не кто-либо другой, стали потреблять его по внушению и наущению сатаны, являвшегося им в образе свиньи... Они не могут выслушивать мессу до конца, если не напьются этой йербы-мате... После причастия их тотчас тянет на рвоту, и, так как здесь почти все пьют это зелье, люди причащаются лишь на пасху. Но поскольку в сей день месса начинается очень рано и многие оскверняют своей блевотиной святые дары, священникам удается отслужить всю мессу весьма редко... Случается, что во время богослужения люди, производя немалый шум, выходят помочиться. Не говорю уже о других дурных свой-

---

[1] Энкомендеро — владелец земель и деревень с индейцами, пожалованных испанским королем.

ствах этого зелья, которое портит вкус и вредит здоровью. К тому же многие индейцы мрут, собирая и высушивая проклятую йербу, что достойно сожаления и сострадания. Возмутительно, что сему пороку подвержены и воины-испанцы и служители церкви. Скажу лишь, что они, равно как и индейцы, впадают от этого в леность и предаются безделью. И рожденные тут креолы, и вновь прибывающие из Испании не только теряют рассудок, но перестают уважать религиозные обряды и бояться смерти, будто их вовсе и не ждет чистилище, а что от святой веры они отступают — на то у меня имеются непреложные доказательства...»

Протесты иезуитов звучали все громче. И наконец были услышаны. Орден иезуитов получил право учреждать свои миссии[1]*, которые приобрели известность и в Старом и в Новом Свете. Сто пятьдесят тысяч индейцев стали работать на святых отцов в тридцати трех огромных хозяйствах Альто-Параны. Иезуиты изменили свое мнение о йербе. Оказывается, открыл ее вовсе не дьявол в образе свиньи, а то ли святой Варфоломей, то ли святой Фома. Кое-кто даже уверял, что это был милостивый дар самого Иисуса Христа. Пить зеленый отвар уже не считалось грехом, но он не терял своего горького привкуса. Новые господа хозяйствовали более умело, разумно и рачительно. Однако положение индейцев не улучшилось. Гуарани́, каингуа́, тупи́*[2] *стали теперь усердно воздавать хвалу христианскому богу и утром, и днем, и вечером, как тому учили святые отцы. Но они все так же, до полного изнеможения рубили ветки и собирали листву, а к ночи падали от усталости, забывая, что на свете существует любовь. Каа перестал быть другом всех людей, принося теперь большинству из них только горе.*

И вот снова молния расколола небо: свирепый генерал Шагас вторгся из Бразилии во владения иезуитов, разгромив миссии, не оставив от них камня на камне. Индейцы снова вернулись в сельву. Из всего того, чему их учили, им запомнились только полезные советы, а все другие наставления смешались, спутались у них в голове: святой

---

[1] Иезуитские миссии в целях обращения индейцев в католическую веру были созданы на территории современного Парагвая, Бразилии и северных провинций Аргентины и существовали с 1608 по 1767 г.

[2] Гуарани, каингуа, тупи — индейские народности.

Фома превратился в Тсумэ́, ожили древние божества, простые и добрые. И каа снова стал другом.

Но так было недолго. Вскоре пришли новые конкистадоры. Они шли сюда иными путями, пользовались иными орудиями труда и применяли иное оружие. Однако все вело к одному и тому же: к гибели девственных йербалей, к пролитию крови ни в чем не повинных темнокожих людей, которые издревле здесь обитали — на берегах прозрачных рек или в лесных дебрях, где росли и цвели злосчастные деревья йербы.

6

У дверей байланты[1] со скучающим видом стояли два длинноусых солдата в запыленных мундирах. Увидев трех мепсу, они подтянулись и забавно выпятили грудь.

— Обыщут,— предупредил Адольфо.— Надо спрятать ножи...

Но все обошлось благополучно. Их небрежно, без особого рвения ощупали и отобрали нож только у Баэса, обещая отдать при выходе. Баэс было заартачился, но ему ткнули в нос револьвер: «Живо отрезвеешь!» — и он подчинился. Каждый уплатил по одному песо, и трое приятелей вразвалку вошли в большой зал, вдыхая полной грудью спертый воздух, аромат удовольствий. Люди, крики, табачный дым и слабый свет больших ламп, свисавших с потолка,— всё это странным образом сливалось в одно целое, шумное и веселое. В середине зала танцевали. У стен стояли столики, облепленные пеонами и льнущими к ним женщинами. На подмостках в глубине помещения музыканты наяривали модную польку «Мама́ Кумандá». Официанты с подносами, словно парящими в воздухе, на секунду выскакивали из толпы и снова тонули в море голов. Красноватые отблески ламп играли на багровых лицах танцующих и пьющих. За столиками то и дело громыхали мощные раскаты хохота, сквозь который прорывались надрывные взвизгивания и тонкий, деланный смех женщин. Отдельные парочки, забившись в углы, шушукались с серьезным, многозначительным видом.

— Видать, на них вино тоску нагнало...— засмеялся Баэс.

---

[1] Байланта — танцевальное заведение.

С трудом пробившись сквозь толпу, друзья разыскали свободные места у самой стены. Мимо, задевая их юбками, шныряли женщины, еще не нашедшие себе партнера. Одни, смуглые и высокие, шуршали шелковыми платьями, которые обтягивали их плотные тела. Другие, щуплые и низкорослые, с большими миндалевидными глазами, окруженными подозрительной синевой, щеголяли в платьях с глубоким вырезом, едва скрывавшим их маленькие, острые груди. У одних был большой чувственный рот, у других — небольшие тонкие губы, но помада у всех была пунцовой цветка сейбы [1]. В черных прилизанных волосах торчали гребни. Высокие каблуки придавали фигурам статность, походке горделивость и позволяли вихлять бедрами. С ушей свисали огромные неаполитанские серьги — золоченые бляхи или стеклянные подвески, сверкавшие на влажных от пота щеках. Смуглые пальцы были унизаны кольцами из низкопробного парагвайского золота. Под цветистыми платьями шелестели накрахмаленные нижние юбки. Рамон наблюдал яркий хоровод женщин, а его руки так и тянулись то к быстро проплывающей мимо высокой груди, то к тонкой талии, резко переходящей в широкие, крутые бедра, то к стройным ногам, обтянутым сеткой дорогих чулок. Музыка грянула снова. Оркестр — арфа, скрипка, аккордеон и гитара — жалобно заиграл «Жизнь ягуа» [2]. Каждый живо подхватил партнершу. В сутолоке Рамону попалась под руку молодая девушка с большим смешливым ртом. Его сильные руки клещами обхватили хрупкую фигурку, но и она без стеснения прижалась к нему, легко и ловко играя бедрами. Рамона бросило в жар. Тогда она, прищурив глаза, лукаво усмехнулась:

— Я устала. Пойдем выпьем пива?..

Еще не пришедший в себя от качки, ошалевший от музыки и вида женщин, Рамон, однако, сообразил, что она хотела заставить его раскошелиться. Ничего не поделаешь — так полагается. Он молча последовал за ней к столику, где уже сидело несколько человек. Здесь был и Лопес, коротышка парагваец, с которым он познакомился в «Жемчужине». Парагваец с таким пылом щекотал свою подружку, что в конце концов она не выдержала и стала дико визжать. Адольфо веселился со здоровенной негритянкой, которая ерошила ему волосы и щерила крупные

[1] Сейба — дерево, распространенное в Латинской Америке, цветущее яркими красными цветами.

[2] Ягуа — бродячая собака *(гуарани)*.

белые зубы, словно собираясь съесть его заживо. Баэс в четвертый раз поверял какой-то девице печальную историю своей жизни. Как раз в эту минуту он категорически заявил:

— Меня голыми руками больше не возьмешь! У меня теперь есть денежки, видишь?

Девица кивала со скучающим видом, ласково поглаживая его лохматую голову.

— И я не вернусь туда, хоть волоком меня тащи...

— Да, милый, конечно... Ты останешься со мной, на эту ночку?..

Бутылок на столе заметно прибавилось. Голова Лопеса казалась большим черным пятном на фоне оранжевой юбки его красотки. Адольфо самозабвенно целовался со своей негритянкой, да и не он один. А Рамон с любопытством наблюдал за Марией сквозь пьяный туман, застилавший глаза.

— Ты что это пьешь?.. Ведь не пиво...

— Нет...

Она поднесла к своим губам стакан, в котором было немного какой-то густой желтой жидкости.

— Масло. Только и всего... Чтобы пиво разбавлять. Теперь опять могу что хочешь пить. Пиво-то быстро выливается, а масло остается... Теперь опять могу пить...

Но Рамон уже увлекся зрелищем интересного сражения, развернувшегося за другим столиком. Две женщины остервенело дубасили друг друга, нещадно царапали, таскали за волосы, рвали платья. У одной сквозь разодранную юбку просвечивала упругая ляжка. Мепсу окружили их, подбадривая криками.

— Эта Ньятиколи ужасная драчунья... — сказала подруга Рамона.— Она всегда всех задирает...

— Наподдай ей, Лапе́й! — взревел кто-то, натравливая ее на соперницу.

И в этот самый момент Апепу выпалила ругательство, самое оскорбительное во всей Альто-Паране:

— Aña membuy ein dereicuá pehuaré!.. [1]

Другой ничего лучшего не оставалось, как только сорвать с себя ожерелье из больших золотых монет и с размаху хлестнуть им обидчицу по лицу, где тотчас зарделся длинный кровавый рубец. Тут обе вцепились друг в друга и покатились по полу. Мужчины хохотали, кто-то плеснул на женщин пивом. Наконец официанты розняли их, растрепанных, шумно дышащих, не помнящих себя от злобы.

Вдруг по залу прошло волнение, докатилось до самого

[1] Сукина дочь, в дерьме родилась, дерьмом осталась!.. *(гуарани.)*

входа. Пестрая толпа раздвинулась, образовав узкий коридор. От дверей шла стройная молодая женщина с горделивой осанкой. На слегка смуглом лице выделялись агатовые глаза и крупный, но красивый, чувственный рот. С изящных ушей свисали серебряные серьги в виде звезд. Две ниспадающих волны черных волос на плечах сплетались в две косы, которые ниже сворачивались в один толстый жгут с золотой пряжкой на конце. Восхищенный шепот и громогласные комплименты неслись за ней вслед, опережали ее:

— Белая Лилия! Белая Лилия!..

Уверенная в своей неотразимости, она шла, открывая в надменной улыбке ряд ровных белых зубов. Кто-то шепнул над ухом Рамона:

— Ну и женщина... Сдохнешь!

— Кто это?

— Как кто?.. Не знаешь?.. — Мулат изумленно взглянул на Рамона.— Белая Лилия!

Мулат считал, что яснее не скажешь — это имя гремело по всей Альто-Паране. Рамон не решился повторить вопроса. Только пришлые из дальних краев, такие, как он, могли ничего не слышать о красавице парагвайке, местной знаменитости, мечте пеонов всех возрастов и национальностей. Да, стоило гнуть спину в лесной чащобе, чтобы потом приехать в Посадас и провести хотя бы одну ночь с Белой Лилией. Ее дивные губы заставляли забывать адский труд в йербалях и на лесозаготовках, а ее руки, как по волшебству, сглаживали следы бича на темных спинах. Все это выразил мулат в одном ее имени.

— Идет по улице — госпожа, да и только,— заметил другой.— Если не знаешь, кто она, скажешь — жена самого губернатора...

Белая Лилия уже приближалась к музыкантам. Обернулась к толпе менсу, не сводивших с нее глаз, прищелкнула пальцами. Гитарист тронул струны своего инструмента. На совесть поработав локтями, Рамон и Баэс протиснулись в первый ряд. Под звонкий перебор гитары Белая Лилия дробно застучала высокими каблучками по полу. Мелкая дрожь сотрясла ее грудь, затем, усилившись, спустилась к талии и, было стихнув, вдруг всколыхнула бедра. Казалось, вся ее внутренняя сила перешла в упругие стройные ноги, неутомимо отбивавшие вихревую чечетку на гладких досках пола. Зрители зачарованно следили

за каждым движением танцовщицы. Когда она высоко взмахнула ногой, все, как один, успели заметить подвязку на черном чулке, тотчас утонувшую в каскаде юбок, и даже увидеть — скорее, в воображении, чем в действительности,— кусочек светлого, манящего тела чуть повыше чулка. Танец продолжался с минуту, не более, и вот она уже замерла на месте, слегка наклонив голову в ответ на гром аплодисментов. Люди тяжело, неохотно задвигались, будто приходя в себя после глубокого, долгого сна. Раздались крики, темные руки потянулись к женщине со стаканами кашьи, пива, водки. Она взяла у кого-то стакан и осушила его в два глотка под новые восторженные вопли. Какой-то пьяный целовал накрахмаленный подол ее платья, а она отбрыкивалась, попадая туфлей ему прямо в лицо.

Увлекаемый необъяснимым чувством, Рамон тоже рванулся вперед, оттолкнув Марию, которая пыталась его удержать. Но Баэс всех опередил. Шагнув вперед, он схватил ее за руку и взревел:

— Белая Лилия — моя, и пошли вы!..

Все застыли на месте. Она бросила на Баэса быстрый насмешливый взгляд и сказала:

— Глядите-ка на этого вшивого менсу... Ишь чего захотел... Такая, как я, тебе не по карману.

Люди взорвались хохотом. Но кашья сделала свое дело: кошачьи глаза Баэса фосфорически засверкали, заискрились.

— Ах так? Есть у меня деньги! Сколько хочешь! Я пришел из Альто-Параны и заработал их там для тебя.

Он потряс зажатой в кулак пачкой мятых и грязных бумажек.

— Сколько тебе? Говори!..

Хозяин байланты незаметно моргнул ей два раза. И она ответила, старательно поправляя подвязку на чулке:

— Двести!

Запустив руку в кармашек пояса, Баэс вытащил еще несколько грязных бумажек и, не считая, протянул ей. Женщина, не опуская юбку, взяла деньги, свернула пополам и засунула их за широкую подвязку.

Парочки стали расходиться, заслышав звуки веселой польки. Вдруг один угрюмый чернявый парень с большим шрамом на лице решил вмешаться:

— Подумаешь, у него деньги... И значит, ему можно увести ее...

Назревала ссора, люди отпрянули в сторону. Женщины с визгом кинулись в угол. Забияка наседал на Баэса, дыша ему в лицо винным перегаром.

— Нет, не уведешь. Я тоже ее ждал...

Несмотря на опьянение, Рамон сообразил, что медлить нельзя. Как всегда, опасность его отрезвляла. Он выхватил нож, который сумел спрятать при входе, и приказал:

— Отойди от них. Чего тебе надо? А вы идите, я сам с ним потолкую.

Чернявый парень, растерявшись, отступил. Белая Лилия подняла на Рамона томные глаза, скользнула взглядом по его широким плечам и мускулистой молодой груди. Проходя мимо, шепнула:

— Красивый парень... Мне нравишься...

Но Баэс уже увлекал ее к дверям. Кто-то старался предотвратить драку, вопя:

— Здесь солдаты! Берегись!

Однако, когда появились охранники, в зале уже было тихо. Рамон снова сидел за столиком и большими глотками пил водку, которая раскаленной струей обжигала нутро. Перед ним все еще поблескивали глаза Белой Лилии. А Мария назойливо ласкала его, стараясь вывести из задумчивости. Рамон очнулся, когда она сказала:

— Ну, пошли?.. У меня есть комната, я...

Он одним рывком встал на ноги, но вокруг все плыло. Женщина взяла его за руку и повела. В конце-то концов та или эта — не все ли равно. Он вышел, покачиваясь, на улицу.

— Все равно... — повторил вслух Рамон. Но таинственно-синяя ночь звездами зажгла над ним зовущие глаза Белой Лилии. В мягких изгибах продолговатого холма за улицей Бахада-Вьеха он вдруг увидел очертания тела Белой Лилии. И, споткнувшись о камень, упал. Поднялся, ругнувшись. Мария шла впереди, показывая дорогу. Вскоре их обоих поглотила ночь.

В ЗАПАДНЕ

«...известно, что Контрераса судили за убийство пеона в Альто-Паране, но не прошло и двух месяцев, как он выбрался из тюрьмы да устроился управляющим в Пуэрто-Инчаусти в Альто-Уругвае, а потом отправился в Посадас и гулял там месяца три. Мы же в это время чуть с голода

не подохли, сидели на одних черных бобах. А вообще-то он и его капатасы не выпускали из рук винчестеры и помыкали нами, как хотели. Однажды он сам сунул мне в руки револьвер и велел стрелять в тех, кто бежит через бразильскую границу, которая проходила рядом. Но я, не будь дураком, смылся в ту же ночь с двумя другими... Потом мне удалось узнать, что наши там взбунтовались, в лесу была кровавая резня, погибло человек шесть — пеонов и капатасов, и только потом, не скоро, прибыли из Посадаса чиновники...»

Из рассказа тареферо
Карлоса Бенитеса

7

Рамон беспокойно заворочался в постели, ему не спалось. Женщина сквозь сон пробормотала что-то невнятное и протянула к нему руку, словно желая успокоить. Тогда он осторожно встал и шагнул к стулу, куда была брошена его одежда. Взял сигару и подошел к окну. Ставни с легким скрипом растворились, и перед ним открылся черный, звездный квадрат ночи. Он посмотрел вниз. Там тускло поблескивала Парана, как всегда неспокойная, непрестанно выгибающая свою темную, подрагивающую спину, будто под гигантской шкурой шевелилась масса живых существ. На том берегу робко поблескивали огоньки Вилья-Энкарнасьона. Привыкнув к темноте, глаза Рамона различили маленькое каноэ с тусклым фонариком на корме, медленно пересекавшее реку. Сигара почти затухла. Он глубоко затянулся и снова замер, уперев руки в подоконник и прижавшись лбом к оконной притолоке. Но вскоре какой-то шум привлек его внимание. Кто-то шептался за дверью в соседней комнате. Подойдя ближе, он различил сначала хриплый голос мужчины, потом звучный, твердый голос женщины. Что-то вдруг всколыхнулось в памяти. Он прижал ухо к двери. Но там уже замолчали. Узкая полоска света, пробивавшегося сквозь щелку в двери, привлекла его внимание. Помимо воли он прильнул к щели одним глазом, зажмурив другой. Сначала увидел конус света, раздвигающий тьму. Затем картина прояснилась: поржавевшая спинка железной кровати, груда наспех сброшенной одежды, белый женский лифчик. На матраце у самой спинки кровати — скомканные простыни. А дальше — две очень светлых ноги, рядом с которыми громоздится что-то темное. Лицо Рамона приплюснулось к двери,

глаза напряглись. Внезапно он выпрямился в изумлении. Его сосед — Баэс! Значит... Понять остальное было уже не трудно. Значит, все это оказалось делом рук турка Фарипьи. Все — и байланта, и женщины, и эти комнаты. Турок с самого начала поймал их всех в свои сети и больше не отпускал. Сначала была лавка, где они приоделись. А потом... Он снова прильнул к дверной щелке. Да, вон смуглое тело Баэса в полосатых желто-зеленых трусах. Они снова начали перешептываться, и Рамон уловил несколько слов. Баэс на чем-то настаивал. Белая Лилия отвечала тихо, но твердо: «Нет и нет!»

Рамон не отрывал глаз от щели. Женщина повернулась на бок. Ее левая полная грудь упала на правую, и обе сомкнулись, словно в стремлении сообща отразить нападение врага. На теле черно-красным пятном выделялся след укуса. Оторвавшись от двери, Рамон шагнул за другой сигарой. Бросил в окно еще не потухшую спичку, которая ринулась вниз падающей звездой. С улицы доносились пьяные голоса. Далекий свист прорезал ночь. На бродяг залаяла собака, и тотчас надрывный лай отозвался со всех сторон, заполнил весь квартал, перекинулся на другой и прерывистым эхом покатился дальше. Вскоре собачий хор заглох, но недалеко вдруг снова гавкнула собака, и он невольно вздрогнул. В голове еще шумело с перепоя, в висках стучало, сердце колотилось, а рука с сигарой подрагивала. Поспешно затянувшись раза два-три, Рамон бросил сигару. Прильнув опять к щели, увидел на этот раз иную картину. Баэс, совсем обессиливший от вина, треволнений дня и любовной баталии, храпел в тяжелом забытьи; из его открытого рта к подбородку ползла желтая струйка слюны. Белая Лилия неподвижно сидела на краю кровати, глядя в пустоту, будто отрешившись от всего на свете. Косметика полустерлась, размазалась, оставив на лице причудливые тени и мазки. Она зевнула, блеснув крепкими зубами молодой тигрицы. Нагнувшись, вытащила из кучи одежды черные чулки. Медленно натянула один и встала, чтобы расправить его и обвязать широкой розовой лентой, отороченной кружевами. Выпрямившись, смахнула с живота приставшие соломинки. Да так и осталась стоять, сама дивясь своим чудесным формам. Словно замерла, спокойная, погруженная в свои думы. Какой-то скрип вспугнул ее. Подняв голову, она увидала у двери незнакомого мужчину. И тут же вспомнила: вечер, ссора в байланте, красивый парень с ножом... На этом воспоминания

ее прервались. В том же самом неосознанном порыве, в каком Рамон выскочил из своей комнаты, он бросился к Белой Лилии, не отпрянувшей, словно ждавшей его. В исступлении приник к ней, и она отвечала ему поцелуем на поцелуй. Слабый свет фонаря выхватывал из полумрака то крепкую руку вокруг нежной талии, то женскую ногу, наступившую на клетчатые бомбачи, то два их плеча. Они даже не заметили, как укутанный в одеяло Баэс, неловко повернувшись, свалился с кровати и продолжал храпеть на полу. Подняв на руки Белую Лилию, Рамон положил ее на грязный матрац, из которого выбивалась пакля, и бросился рядом, подчиняясь зову природы. Огромный таракан, перебиравшийся из одного угла комнаты в другой, задержался возле человека, растянувшегося у ножек кровати. Вдруг на пол слетела подвязка Белой Лилии, и таракан в испуге заторопился прочь.

8

Два человека ощупью добрались в полутьме до двери, подняли щеколду и тихо вошли в комнату. Постояли, огляделись. Слышалось равномерное дыхание спящего, одного спящего человека. Они осторожно подошли к кровати. Легкий свет занимавшейся за окном зари упал на пришельцев. Это были высокие, крепкие парни в кожаных куртках и темных бомбачах. Они двигались уверенно, словно хорошо знали, где должна стоять каждая вещь в этой комнате: старый, перекошенный шкаф с мутным, местами почерневшим зеркалом; железная обшарпанная кровать с продавленным матрацем, который изрядно пострадал от многолетней службы и тяжести несметного количества тел; маленький умывальник с выщербленной мраморной доской, кувшином и тазом, разрисованным розовыми ангелочками; и, наконец, два или три колченогих плетеных стула, стоящих у изголовья вместо ночных тумбочек и в ногах кровати. Да, каждая вещь была на своем месте. Но куда пропал мужчина? Черт возьми, куда он делся? Под одеялом была только женщина. И больше никого. Они ее бесцеремонно растолкали:

— Эй, ты... Где твой парень?

Она приподнялась, тараща на них заспанные глаза. И ее голова снова упала в теплое гнездо подушки.

— Ну-ка, Мария!.. Куда он задевался?

Она нехотя посмотрела на пустое место рядом с собой, обвела взглядом комнату, остановила глаза на двери. Затем недоуменно пробормотала:

— Почем я знаю?.. Он тут был... Вот его одежда.

И перед тем, как снова заснуть, прошептала:

— Да ладно... Он же мне заплатил...

Парни оглянулись. На спинке стула висели белые бомбачи и рубаха-парагвайка. На сиденье лежал широкий красный пояс. Они быстро подошли и проворно шарили по карманам, пока не добрались до денег. Затем парни молча удалились.

Во второй комнате им представилась иная картина. Мужчина и женщина, обнявшись, спали. Они забылись в таком глубоком сне, будто ушли из жизни, оставив на этом свете лишь свои стройные, усталые тела, полуприкрытые одеялами. Большая волосатая рука Рамона покоилась на ее груди. Люди турка Фариньи переглянулись. Но тут их внимание привлек громкий храп. Парень помоложе, рыжий и лохматый, пагнулся над храпящим. Затем подал знак второму, и оба стали копаться в ворохе одежды. Из открытого рта Баэса вырывались попеременно то храп, то свист, переходивший в стон. Он не пришел в себя, когда его взяли за руки и за ноги и вытащили в коридор. Не очнулся он и тогда, когда его кое-как одели в комнате, где турок Фариньа пил мате со своими людьми, готовясь к наступающему трудовому дню. Баэс не проснулся даже тогда, когда его, как мешок, бросили в повозку, стоявшую у дверей. Баэсу виделась в эти минуты паскудная морда надсмотрщика Перейры из Альто-Уругвая, однажды избившего его до полусмерти. Ему снились былые страшные деньки в йербалях и адская работа на лесозаготовках, с которой он, слава богу, навеки развязался. Даже во сне в его мозгу билась единственная мысль: он ни за что туда не вернется. Никогда. Все кошмары позади, теперь он свободен. Радостное ощущение счастья вспыхнуло в нем, освежая голову, разгоняя сон и пьяный угар. Никогда. Теперь ни... Баэс открыл глаза. В лицо ему ударило солнце. Он увидел, что стоит на нижней палубе парохода привязанный к леерной стойке. И внезапно ощутил, как что-то сдавило грудь, прихлынуло к голове и красным облаком расплылось перед глазами, заслонив свет. Из его груди вырвался дикий вопль.

9

> Так сгубили почти всех парагвайских юношей. Так сгубили парней из аргентинской провинции Мисьонес, городов Санта-Ана, Канделярия, Корпус, Серро-Кора, Сан-Игнасио, Посадас. Так сгубили и тех, кто был в Сан-Томе, Мерседесе, Итусаинго, Консепсьоне и других городках, ибо и туда добрались люди Нуньеса, Гибайи и Доминго Барта, заманивая в свои сети здоровых мужчин невиданно крупным задатком, вынуждая подписывать контракт и выдавая им деньги, которые они тут же тратили на канью, проституток, и...
>
> *Хулиан С. Бувьер*

За ним пришли утром, на рассвете. Рамон чувствовал себя разбитым, невыспавшимся. Он с трудом оделся, протер слипавшиеся глаза, но не мог пошевелить тяжелым, словно одеревеневшим языком. Когда он был готов, его повели к выходу. На улице стояла повозка, в которой, тесно прижавшись друг к другу, уже сидело полдюжины людей. Там был и Адольфо. Костлявым клячам не стоялось на месте. Возчик хрипло на них покрикивал, утихомиривая и натягивая вожжи, пока наконец не вышел турок Фаринья со своим подручным. Без единого слова все тронулись в путь. Рамон чувствовал, что он уже живет в каком-то ином мире, о котором еще не имел представления. Ему слышался голос Белой Лилии, поверявшей ему историю своей жизни, звучный голос с мягкой аргентинской интонацией, еще не осипший от алкоголя. История эта была довольно путаная, но в общем обычная. Девушка приехала из Парагвая, кажется, из Вильярики, а потом...

Лошади трусили, не разбирая дороги, колеса стукались о камни. От одного сильного толчка люди едва не вылетели из повозки. Фаринья обрушился с руганью на возчика, и тот снова прошелся бичом по тощим спинам кляч.

...Она была еще молоденькая, совсем девчонка... Какой-то важный сеньор — судья или торговец или кто-то вроде того — попользовался ею, не испросив на то ее согласия. Потом она сошлась с одним человеком, с которым прожила недолго. Жизнь с ним была беспокойной и кончилась очень страшно. Что именно случилось, она не призналась, но при одном лишь воспоминании ее затрясло...

Вот и приехали. Фаринья с подручным спрыгнули на

землю. Людей тоже поторопили выйти. Они прошли шагов пятьдесят по узкому, огражденному проволокой коридору и оказались на пристани. Утреннее солнце светило на темный дощатый настил, скользило по канатам, вспыхивало на тросах. Внизу, на мутной воде, покачивались шлюпки и лодчонки.

...Она сделала аборт, тоже в ранней молодости. Потом оказалась на улице и едва не пропала. Есть было нечего, красота начинала блекнуть. Она опять попыталась бороться за жизнь и стала жить с одним контрабандистом, довольно смелым и сильным парнем по имени Вальехос. Но и на сей раз дело кончилось плохо. «Однажды его подстрелили солдаты. Он был ранен, упал в воду и утонул...» Умер, как ему и полагалось: от пули и в воде, в реке, которую столько раз пересекал со своей мелкой контрабандной поживой. «За такими только и охотятся,— сказала она.— Крупных рыб никто не трогает...» И она поставила ему на берегу крест с надписью: «Печальной памяти Кандидо Вальехосу от его подруги». Этот крест и сейчас торчит там, среди кампей. Она отдала долг покойному, а иногда служит по нем и заупокойную мессу...

У пристани стоял большой пароход. На высокой черной трубе с белой каймой виднелась звезда, тоже черная. На нижней палубе рядом с камбузом весело болтали два матроса, потягивая мате. К пристани все подкатывали и подкатывали повозки с живым грузом. Прибыло уже около сотни человек. Лица у всех были хмурые, желтые, помятые: люди не проспались после пьянки, нетвердо держались на ногах, еще больше мрачнели при мысли о страшном будущем, ожидавшем их в аду Альто-Параны.

...И вот после гибели контрабандиста ей снова пришлось туго. Правда, начальник таможни предложил ей жилье, обещал содержать и хорошо с ней обращаться. Но пережитое закалило и ожесточило ее. Она чувствовала непреоборимое отвращение к «высоким господам». И, несмотря на то, что умирала с голоду, нашла в себе мужество отказаться. В тот же самый вечер началась новая полоса в ее жизни на улице Бахада-Вьеха: нашлись первые клиенты, два менсу... Тем вечером она впервые за долгое время наелась досыта. Затем в ее судьбе произошла быстрая перемена. Теперь она — королева Альто-Параны и зарабатывает, сколько хочет. Ее именем даже назван один из сортов йербы. Но... И Рамон в волнении облизнул пересохшие губы, потому что тут же она неожиданно спро-

сила его: «Может быть, останешься со мною? Ты мне нравишься... У меня есть деньги, и никто мне не запретит...» Не давая ему опомниться, она продолжала упрашивать: «Ты бы защищал меня. Все норовят обидеть одинокую... У меня есть деньги. А ты мне люб...»

По правде говоря, ему не требовалось много времени для размышлений. С одной-то стороны, черт знает что ждет его в верховьях реки. Но с другой... Нет. Не таков он, чтобы жить на деньги женщины. Не таков. «Нет».— «Останься. Ты мне люб, клянусь святой девой!» — «Нет».

Сказав последнее решительное «нет», он уснул. А проснувшись, вместо Белой Лилии увидел перед собой двух верзил турка Фаринью.

— Шевелись!

Грузчики перетаскивали на пароход сундуки и узлы менсу. Когда трюм был полностью загружен, пожитки стали сваливать на палубе. Там уже расположилось несколько семейств: ревущие сопливые детишки, хлопотливые женщины с большими цветастыми платками на плечах, молчаливые, понурые мужчины. Неподалеку от людей на палубе разместились корова, клетка с курами и несколько больших страшных псов, волнующихся от чуть заметной качки. Все это походило на стоянку бродячих циркачей. Фаринья поднялся по трапу на пароход, где его ждал начальник судовой охраны. Они забавно выглядели рядом друг с другом: маленький, желтушный турок и смуглолицый великан с висячими усами и крепкими белыми зубами. Не торопясь, протянул начальник руку к стопке расчетных книжек, и в этот момент с парохода раздался истошный, душераздирающий вопль:

— Я не хочу туда! Aña membuy, пустите меня! Не хочу-у...

Менсу в тревоге вытянули шеи. Рамон сразу узнал кричавшего. Да это же Баэс. Он был привязан к стойке — руки за спиной, лицо багрово-синее от натужного крика. Боцман, проходя мимо, ударил его ногою в пах. Но Баэс продолжал яростно вопить:

— Пустите меня! Я не подписывал! Я не хочу туда!

Фаринья как ни в чем не бывало спустился по трапу обратно на пристань. Начальник таможни хитро улыбнулся, толкнул его локтем и сказал, указывая на еще толпившихся на пристани пеонов:

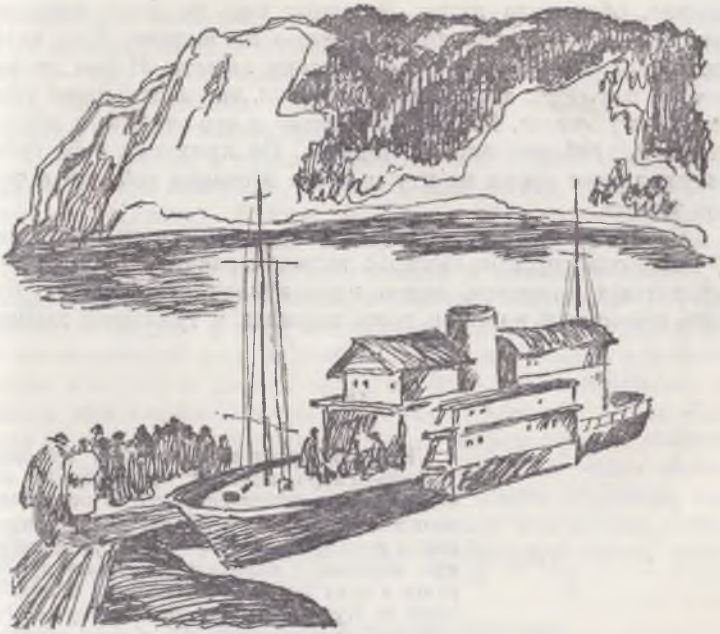
— Неплохой урожай, а? Сколько огреб, турок?

— Прилично. По пятьсот песо с головы.

Охранники погнали неонов к трапу, заставляя их быстро, по одному подниматься на пароход. Они толкали людей, пинали, орали на них, как на скот, с которым привыкли иметь дело. Очередь дошла до Рамона, но он не сдвинулся с места. Кто-то пнул его в спину, но он уперся и продолжал стоять. Люди оглянулись на него в предчувствии новой заварухи. Мысли у Рамона внезапно спутались, он старался в них разобраться. До крика Баэса он был целиком погружен в воспоминания о рассказе Белой Лилии. А сейчас влекущий образ женщины исчезал, таял, и вместо него наплывало что-то другое. Словно тяжелый, давящий, острый камень наваливался на сердце. Очень острый камень, ранивший, терзавший душу. Камень рос и рос с каждым воплем, с каждым доносившимся до него — все тише, приглушеннее — криком Баэса:

— Пустите меня!

В груди Рамона росло, поднималось чувство протеста. Кровь закипала в жилах, дыхание спирало, в глазах мутилось. Его схватили за руки, но он освободился одним



рывком. Охранники опешили от неожиданности. Он рявкнул им в лицо:

— Не пойду!..

Тут подскочил Фаринья и в ярости затряс перед его носом татуированными руками с гроздьями перстней на пальцах:

— Бунтовать, сволочь? Я тебе покажу! Взять его! И всыпать как следует!

Расправа была короткой, но жестокой. На него накинулось четверо или пятеро парней, которые скрутили ему за спиной руки и с такой силой толкнули на трап, что он едва не свалился в воду.

— Идите вы к...

Но он уже оказался на палубе, и его крик утонул в грязной речной воде, покрытой апельсиновыми корками и всякой дрянью. С пристани портовые полицейские со скучающим видом наблюдали эту сцену. Вопли Баэса уже стихли.

Затем стук машин заглушил всякие звуки. Рамон почувствовал, что вспышка гнева сняла внутреннее напря-

жение, облегчила душу. В голове уже не было никаких мыслей, глаза смотрели, но ничего не видели. Ему хотелось только одного: скорее обо всем забыть. И тем не менее он понимал: такое не забывается, такое страшное унижение мужчины. Первое унижение в его жизни, в жизни гордого, храброго парня. Первое... Он прикусил себе губу, ощутил вкус крови во рту и снова заставил себя ни о чем не думать.

С берега пароход казался теперь туманным силуэтом. С парохода городок Посадас виделся сначала скоплением крохотных домишек, затем превратился в береговую бурую полоску и наконец тоже скрылся в туманной дымке.

10

Леандро Арречеа, начальник полиции Пуэрто-Агирре, показал: «Доподлинно известно и подтверждено, что в этом году выше Такуру-пуку (Парагвай) утонула целая семья, не считая пеонов, утонувших при падении с пароходов, которые курсируют в этих водах... Как сообщил полицейский из Пуэрто-Агирре, неподалеку от Пуэрто-Эмбальсе (Парагвай) в реке обнаружены трупы двух пеонов, упавших с парохода «Эделира», а также труп пеона, упавшего с парохода «Эспанья» около Фоз-до-Игуасу».

Из материалов следствия

Долгое путешествие вверх по реке казалось кошмарным сном: непрестанное покачивание палубы, тошнотворный смрад, вонючее вяленое мясо и отвратительно теплая вода. Некоторые менсу везли с собой семьи. Цыганским табором расположились они на палубе, вместе спали и ели: люди, собаки, куры. Женщины не стеснялись мужчин, детишки шныряли по всем углам. Кое-кто прихватил в дальний путь весь свой убогий скарб: кровать — нехитрую парагвайскую раскладушку,— сундучок, несколько клеток с курами и узлов с одеялами. Время коротали, потягивая бесконечный мате. Когда темнело, все закутывались в пончо и одеяла, спасаясь от пронизывающего холода звездных ночей Параны, и предавались незатейливым семейным радостям. Стук машин умолкал, так как по ночам пароход становился на якорь, и в темной тиши отчетливо слышались шепот, смешки, вскрики супружеских парочек, не

обращавших внимания на расположившихся рядом холостых мепсу. Рамон безуспешно старался заставить себя заснуть,— ему вспоминались все женщины, каких он только знал. Затем наконец рассвет прорывал заслоны туч, и дневной кошмар возвращался.

Надо сказать, в первый день все без устали резались в карты, в «три семерки», в «монте криожо» и, главным образом, в «дурака». К ним подсели шулера, бывшие в явном сговоре с капитаном. Когда же пеоны были обобраны до нитки, шулера незаметно сошли в каком-то порту, а люди, еще раз обворованные, с горечью обсуждали это событие, последнее в цепи неприятных сюрпризов Посадаса. В последующие дни мужчины от нечего делать затевали ссоры или мирно давили вшей, приставали к женщинам и детям или спали. Иногда кто-нибудь заводил нескончаемые рассказы о привидениях или с жаром врал о лобисоне [1], и тогда вокруг рассказчика собиралась толпа любопытных. Охотно слушали и мепсу по имени Майдана, когда он брал в руки гитару и вполголоса что-нибудь напевал. Чистый, бесстрастный голос пробивался сквозь визг, писк, смрад, глушил тоску:

Как заваришь йербу-мате кипятком,
пена белым раскрывается цветком,
и становится на сердце веселей,
и житуха нам становится милей...

Рамон занимал себя тем, что обозревал места, мимо которых они плыли. Дикая красота обрывистых берегов в провинции Корьентес, которую он прекрасно знал, меркла перед великолепием края Альто-Парана. Вода была здесь прозрачнее, песок на изредка встречавшихся отмелях белее, растительность разнообразнее и гуще. Они медленно проплывали мимо темнокаменных отвесных стен, по которым сверкающими нитями струились вниз ручьи. А порой громады скал и груды камней глубоко врезались в реку, словно стремясь достичь другого берега. То и дело встречались плывшие вниз по течению огромные стволы деревьев, без ветвей и без корней, уже давно переставшие быть деревьями и казавшиеся замшелыми валунами. Иной раз высокий берег резко понижался, и тогда его хребет вдруг прикрывался словно огромным зеленым крылом или изумрудной шапкой дремучего леса, украшенной роскош-

[1] Лобисон — седьмой сын в семье, который, по индейским поверьям, превращается в страшного зверя.

ными цветками диких орхидей. Однажды они плыли вверх по стремнине Тею-Куаре [1], среди красивых холмов, стоящих в парадном строю перед величественной Параной и горделиво покачивающих высокими султанами пальм пиндо. Здесь Майдана рассказал своим путникам про сказочное чудовище, гигантского дракона Тею, который когда-то тут жил и прятался в пещере меж скал. Всякий раз, когда мимо проходили лодки с иезуитами или индейцами, могучий Тею, хозяин и господин Великой реки, преграждал им путь и пожирал живьем. Он всех держал в страхе, и никто не отваживался соваться в эти края. Но однажды Тею столкнулся с врагом более сильным и могущественным, чем он сам, смело шедшим вверх по Великой реке. Это был первый пароход. Дракон в испуге отступил, а там, где он бежал, пролегло новое русло и образовалась стремнина, носящая его имя...

Рассказ уже подходил к концу, когда охранники, грубо растолкав слушавших, отобрали нескольких человек и велели спускать шлюпку. Уже показался Пуэрто-Истуэта, и некоторые менсу должны были сойти на берег. Такие сцены участились. Боцман, начальник охраны и его подручные бесцеремонно врывались в гущу людей, шагали прямо по их одеялам и пожиткам, отпихивая ногами детей и клетки с клохчущими курами. Рамон поражался терпению менсу, безропотно сносивших подобное обхождение. Сам он в таких случаях едва сдерживался. Краска гнева заливала его смуглое лицо, а руки тянулись к ножу. Его глубоко, до самой души оскорбляло унижение людей, которое приходилось видеть. И он твердо знал, что никогда с этим не свыкнется.

Через каждые три-четыре часа пароход на несколько минут бросал якорь неподалеку от пристани, которая в Альто-Паране представляла собою небольшую бухту с мостками или просто береговой выступ с фанерным щитом, где указывалось название местечка. Если береговой склон был очень крут, вверх вела врытая в землю деревянная лестница. Пароход никогда не подходил близко к берегу. Наученный горьким опытом капитан опасался, что менсу могут добраться вплавь до земли и удрать.

— В прошлый раз такое было дело... — рассказал им доверительно один матрос с маленьким кроличьим лицом и глубокой складкой меж бровей.— Один парень сбежал,

[1] Тею-Куаре — Пещера Дракона.

его догнали и забили до смерти, как зверя... — Матрос вздохнул и, не сводя глаз с горизонта, все так же хмурясь, добавил: — Вот с этого самого места я все видел. За ним охотились, как за оленем, переплывающим реку. Догнали... Раз веслом по голове, еще раз... И готов...

Если кто-либо из завербованных убегал, капитан не получал от хозяев денег, причитающихся ему за доставку мensу к месту назначения. Поэтому пароход всегда вставал на якорь далеко от причала и возвещал о своем прибытии долгим пронзительным гудком, а затем уже отправляли к берегу шлюпку с мensу и охранниками. После очередной остановки продолжалось путешествие по Паране среди безлюдных лесистых берегов, где изредка лишь промелькнет пугливый олень или выползет к воде огромная зеленая ярара́ [1].

11

Начальник судовой охраны созвал их и вручил расчетные книжки. Братья Морейра полагали, что их долг не превысит четырехсот песо. Но не тут-то было. Адольфо с трудом разбирал записи:

— Комиссионный сбор вербовщику — восемьдесят песо. За проезд — семьдесят песо...

— Видал, как нагрели? И меня так же,— заметил стоявший рядом мensу.— И за вербовку содрали, и за пароход, и если по нужде надумаешь отпроситься, тоже сдерут.

Слова и цифры в книжечке цеплялись друг за друга, образуя цепь, которую, видно, еще долго придется таскать за собою.

— По счетам в тавернах — триста песо.

— Штаны — пятьдесят...

— Рубаха — пятнадцать. Флакон духов — двадцать песо. Две пары кальсон...

Колонка цифр перешла с одной страницы книжки на следующую. Всего, согласно подсчетам начальника, братья задолжали тысячу двести песо.

— Вот и попали в кабалу... — пробормотал Адольфо.

Рамон промолчал. Опять их одурачили. Но он верил в баснословные заработки, ожидавшие там, в верховьях Параны. Если получать в день десять — пятнадцать песо, мож-

[1] Ярара — ядовитая змея с зеленой узорчатой кожей.

по быстро покрыть долг, да еще и нажиться. Он надеялся на силу своих рук, а сказочный мир Альто-Параны вопреки всему манил его золотым блеском. Ему не терпелось добраться до места. Но братьев никак не спускали на берег. Порт назначения был, видно, еще далеко. Долгие, нескончаемые часы плыли они вверх по реке, ставшей здесь такой узкой, что, казалось, берега вот-вот сольют в поцелуе влажные уста своих отмелей. Когда ночью пароход вставал на якорь, чудилось, будто под кровом темноты берега сдвигаются и через какое-то мгновение расплющат невольничий корабль. Но ничего не случалось, и на следующий день они снова плыли мимо песчаных языков и зеленых холмов; слева — аргентинский берег, справа — парагвайский, более лесистый, но совсем дикий: ни людей, ни зверья. Воплощение одиночества и необитаемости.

ЗАВОЕВАНИЕ

Мы бросаемся отрядами
По перевалам и над кручами, по дорогам неизведанным,
Напролом, в атаку, грудью завоевать и сокрушить.
Пионеры! о, пионеры!

Уолт Уитмен [1]

Кто они такие? Сельва их не знала, она их не вскармливала, она их невзлюбила. Это были не ее сыны. Чужие лица, странные одежды, нездешние повадки. Их голоса звучали властно и резко в дремучих лесах среди длинных сочных папоротников под огромными густыми ветвями, сплетенными в братских объятиях. Их никто здесь не знал. Ни проворные белки, ни быстрые обезьяны, ни изящные, пугливые олени и неуклюжие тапиры. О них никто ничего не знал, но все видели, как они идут — утром, днем и ночью. Видели их сторожевые огни и огромные, быстрые корабли, слышали грохот их ружей. И поняли: нет, идут не друзья. У них злые намерения и поступь завоевателей. Они даже не сочли нужным заручиться доверием сельвы и ее обитателей, не верили ей и боялись ее. А все потому, что с недобрыми замыслами шли они сюда.

[1] Из стихотворения «Пионеры! О, пионеры!» *(перевод К. Чуковского).*

И недолго оставались на одном месте, а устремлялись все дальше и дальше. Не был по нраву оседлый образ жизни этому беспокойному, кочевому народу. Им не до красот природы. Они жадны, ненасытны, завистливы. Влекла их только нажива. Это были авантюристы. Людские отбросы, ненужные родине. Отпрыски тех, кто приплыл на каравеллах Колумба, потомки корыстолюбивых и ленивых кастильцев, вторгшихся в Мексику и Перу. Это были жестокие работорговцы, вывозившие из Америки живой товар; алчные золотоискатели, заполонившие Юкатан и Калифорнию. Это были палачи Атауальпы [1], удушившие инку из-за его сокровищ; хозяева каучуковых плантаций в Амазонии и в Малайзии. Эти рыцари наживы рыскали по белу свету, грабя и насилуя. Они никогда не пахали, не сеяли, не собирали урожая. Они все сметали со своего пути, проливали кровь, несли смерть. Где бы ни проходили эти маленькие ненасытные Аттилы — всюду гибли травы, сохли реки, пропадала рыба. Взгляд их был жесток и хищен. Они не знали пощады, так и глядели, кого бы ограбить, чем бы завладеть, что бы утащить с собою. Цель их жизни — добыча, их законы — беззаконие и сила. Они шествовали по трупам, оставляя после себя вырубленные леса и перекопанные земли, мертвый, пустынный пейзаж. Их звала вперед жажда жизни, но несли они с собой только смерть. Пришельцы походили на лианы-паразиты, высасывающие соки из своей жертвы. При их приближении трепетала сельва. Шли ее недруги. И она знала, что отныне разгорится война не на жизнь, а на смерть. Или она, или захватчики. И сельва встретила их оружием, своим смертоносным, тайным оружием. Здесь и страшный змеиный яд, и укусы москитов, несущих желтую лихорадку, и непроходимые дебри, и лабиринты тростниковых зарослей. Она высылала навстречу врагам легионы опасных неведомых тварей, клещей и пауков, пугала своими жуткими темными ночами, сводила с ума и губила. Она ввергала незваных пришельцев в дикий ужас, добивала усталостью. Отступи они на шаг — и конец. Могучая, древняя сельва безжалостно расправлялась с авантюристами, когда они слабели телом и падали духом. Она быстро приканчивала их и успокаивалась: теперь-то никто не потревожит девственные рощи йербы-мате. Летел над землей ее победный, мощный, многоголосый клич, подхваченный и бесконечно

[1] Атауальпа — последний правитель империи инков, убитый в 1533 г. испанским конкистадором Ф. Писарро.

повторяемый птицами, зверями и деревьями, всеми живыми существами, которых она любовно оберегает. Великая мать-сельва победила, и все ликовали вместе с ней. Теперь — хотя никто и не знал, надолго ли,— жизнь потечет по-старому. Враги-захватчики разбиты.

12

Аргентинский берег остался позади. К исходу четвертого дня повстречались плоты из больших бревен, спускавшиеся вниз по течению. На самом широком плоту трое или четверо индейцев попивали мате подле грубо сколоченной хижины и с любопытством глазели на пароход. «Ибера» подался ближе к парагвайскому берегу, и вскоре на холме показалось несколько домишек, а внизу у причала громоздились полные мешки, предназначенные для отгрузки. Кто-то сказал:

— Это Пуэрто-Адела. Той же самой компании.

Они прошли мимо. Но спустя некоторое время, когда солнце уже клонилось к горизонту, слабо золотя воду, пароход пошел тише и развернулся носом к бразильскому берегу, высокому и обрывистому. Наверху стоял тесовый барак, к которому вела крутая тропка. Внизу на узкой отмели несколько индейцев встречали пароход.

— А это что?

— Пуэрто-Артаса... но его называют Альика, по имени хозяина.

Матросы готовились бросить швартовы:

— Держи-и-и...

Люди на берегу кинулись к воде, поймали концы канатов, просунули в кольца на сваях, глубоко вбитых в песок, и связали канаты тугими узлами. Выпрямив спины, крикнули в ответ:

— Готово-о-о...

Пароход медленно подтягивался к берегу. Из окна капитанской рубки высунулась голова лоцмана, отдававшего распоряжения пьяным, зычным голосом. Затем голова скрылась. Ударили склянки четыре раза, и ровный шум машин внезапно стих. Пароход неподвижно застыл на воде. На палубу опустилась успокоительная тишина. В воздухе веяло прохладой, и Рамон с удовольствием подставил лицо ветерку. Солнце тщетно цеплялось последними лучами за небо, но облака безжалостно их ломали,

окрашиваясь в удивительные оранжевые, лазурные, изумрудно-палевые тона, которые, постепенно тускнея, сливались в пепельно-серый цвет. О нос и корму парохода мягко бились речные волны, хаотично отражавшие живые краски неба. Наконец и вода потемнела, стала густо-коричневой, грязной. Вечер был удивительно тих и покоен. Спустили дощатый трап, и на пароход поднялся смуглый сухопарый человек, у которого нижняя губа и подбородок нервно подергивались. На руке болтался хлыст с отделанной серебром рукояткой, которым он похлестывал себя по кожаным крагам. На палубе человек по-хозяйски оглядел людей. Поздоровался с капитаном и скрылся с ним в каюте. Вскоре он вышел оттуда один. В это время матросы выгружали из трюма узлы и сундуки и перетаскивали их на берег.

— Эй, вы! — рявкнул человек с хлыстом.— Сначала людей! Живо!

Матросы в растерянности опустили руки. Подошел начальник охраны:

— Минутку, сеньор...

— Какую еще минутку? Я уже распорядился. Иль ты не узнал меня? Я — Хулио Альика! И не лезь в мои дела, дубина!

Матросы и менсу с интересом наблюдали эту сцену. Начальник тоже повысил голос, стремясь не уронить своего достоинства:

— Потише. Здесь, на борту, распоряжаемся мы...

Нервный тик перекосил физиономию Альики, его щеки побагровели. Он шагнул к начальнику и заревел, брызгая слюной:

— Молчать! Молчать, говорю! Или так тебя выдеру, что век помнить будешь!

Он не мог унять свою ярость, ярость взбешенного хозяина, которому осмелились перечить:

— Я тебе покажу! Так выдеру!

Начальник хотел было ответить, но один из охранников и старший машинист отвели его в сторону, шепнув:

— Не связывайтесь. Вы еще не знаете Альику... Он ни перед чем не постоит. Убить может, если взбесится! Лучше тихо, мирно...

— Но он хочет сначала людей!.. Так не положено.

— Да ведь мы у него в порту...

— Все равно, на борту хозяева — мы! Пароход аргентинский, команда аргентинская...

— Это верно. Но здесь он полный хозяин, уж верьте мне. Кстати сказать, Альика тоже аргентинец, из Корьентеса... А сюда приехал, чтоб вовсю развернуться, чтоб закон не мешал. Понятно?

Начальник не мог успокоиться:

— Мы еще посмотрим! Ишь выискался, хозяин сельвы!

Однако вскоре умерил свой пыл и уже с опаской косился на местного властелина. Никто не обращал внимания на начальника охраны. Все знали, что стычка закончится именно так. Чтобы сорвать злость, он обернулся к пеонам:

— Чего тут толчетесь? Марш на берег, сволота!

13

Альика побуйствовал еще немного и удалился. Менсу, растянувшись цепочкой, поднялись друг за другом по крутой каменистой тропке на гору под присмотром бдительных капатасов. Багаж доставили на подъемной вагонетке — рельсы узкоколейки тускло поблескивали в сумеречном свете. Рядом с рельсами в горе был проложен широкий желоб, по которому в дни отгрузки йербы спускали на берег мешки. Доверху добрались, выбившись из сил, но пришлось тащиться еще не менее километра до здания главной администрации. Это был деревянный, давно не штукатуренный дом с обшарпанными стенами и красной крышей. Вокруг было пусто и голо, ни деревца. У конуры громко выли два огромных пса, сидевших на цепи. Подальше, в небольшом загоне, возились свиньи, вырывая друг у друга обглоданные маисовые початки. Все это наводило уныние, настраивало отнюдь не на веселый лад. Да еще эти злобные окрики капатасов. Управляющий, по имени дон Сирило, распорядился:

— Ну-ка, стройся снова, по порядку. Вот сюда, на этот брезент вы должны выложить все оружие, какое у вас есть. И чтобы без обмана, иначе собственной шкурой поплатитесь...

— Давай... Начинай! — заторопил один из капатасов.

Пеоны по очереди подходили к брезенту, раскинутому у ног управляющего. Первые хотели было оставить себе мачете, необходимое орудие труда, но Сирило прикрикнул:

— Мачете тоже! — И нехотя добавил: — Потом получите обратно.

Каждый, подходя к брезенту, наклонялся, совал руку

за пазуху, за пояс или в карман и вытаскивал оружие. Перед тем как бросить нож или мачете в общую кучу, какой-то миг взвешивал его на ладони, не отрывая от него глаз, словно не в силах с ним проститься. Рамон понимал чувства людей, ибо сам испытывал то же самое — глубокую боль при расставании со старым товарищем, спасавшим в драках и выручавшим из передряг, с единственным верным другом. Ведь так оно по сути и есть. С женой и детьми волей-неволей приходится расставаться, когда нужда гонит на заработки или иные дела и заботы зовут в путь-дорогу. Ранчо и вовсе не жалко оставить, потому что четыре хилых стены, крытые соломой или пальмовыми ветками, едва ли могут навек удержать. Коня заводить не по карману, и обычно приходится путешествовать на своих двоих. Все можно стерпеть, даже разлуку с любимыми друзьями, если нужно. Но с ножом! Слыханное ли дело? С единственным закадычным другом, с которым и ешь и спишь всегда вместе! Он поможет с честью выйти из трудного положения, защититься и от зверя и от человека, раздобыть еду. Его острие ловко подцепит сочный кусок жареного мяса, расщепит дровишки, вырежет любую деревянную утварь или выроет ямку в земле, где можно укрыть огонь от ветра. Потому-то тяжело было для менсу расставаться с ножом. Когда он наконец решался, то не бросал свой нож, а опускал бережно, почти нежно, словно что-то хрупкое, ломкое. И отходил в сторону, уступая место другому. Тихо, но воинственно звякали скользившие в общую кучу ножи, мачете и даже револьверы. Рамон, подойдя, наклонился, как и другие, над брезентом и осторожно положил свой длинный нож. Однако револьвер, купленный в Посадасе, припрятал. Адольфо сделал то же самое. Их никто не уличил, но на сердце у них было неспокойно. Чудилось, что капатасы заподозрили недоброе. Трое из них, стоявшие в сторонке, шептались. Проходя мимо, Рамон, как ему показалось, расслышал слова: «За этими надо приглядывать...» — но он тут же успокоил себя, подумав, что угроза могла относиться и не к нему с Адольфо. Погруженный в свои мысли, он подсел к остальным менсу, которые расположились вокруг костра в двухстах метрах от здания администрации и готовили мате. Сумерки сменились мглою, и из ночи летело звонкое стрекотание цикад, слышались последние стоны какой-то птицы, разливался бледный свет луны. Первый мате заварили крутым кипятком, и Рамон обжег себе глотку. Но ничего,

ему даже понравилось. В такую минуту это было как раз то, что надо. А надо было что-либо крепкое, жгучее, дабы стряхнуть апатию, напрячь мускулы, взвинтить нервы — снова почувствовать себя мужчиной, человеком, который не позволит себя оскорбить, втоптать в грязь. И он с жадностью стал глотать горький зеленый отвар.

14

К ним подошел вразвалку плотный, веснушчатый капатас. Люди отвели взгляд от огня и молча уставились на него.

— Вам везет,— словно невзначай заметил он и почти дружелюбно взмахнул рукой.— Прибыли вовремя, как по заказу...

В глазах людей мелькнуло любопытство, но все продолжали молчать. Капатас объяснил:

— Сегодня вечером будет гуляпка. Так распорядился хозяин. Вы тоже можете прийти, повеселиться...

— Очень-то нужно,— пробурчал Галарса, уже лет десять маявшийся в Альто-Парапе и наживший астму, которая изматывала его приступами кашля.— Я лучше спать пойду, чем по гулянкам шляться.

— Я тоже... — заикнулся было другой, но капатас прервал его. Улыбку как ветром сдуло с толстой физиономии.

— Э, нет!.. Прийти должны все. Как хозяин распорядился, так и будет. А ты не забудь жену свою прихватить, пусть тоже попляшет.

— Как прикажете,— ответил Галарса, понурившись.

— Смотри-ка на этих мерзавцев! Дон Альика дает им погулять, а они еще носы воротят! Скоты неблагодарные.

Капатас круто повернулся к ним спиной и пошел прочь, подбивая носками башмаков попадавшиеся на пути камешки, которые шумно катились в темноту. Горячий мате обошел весь круг, и взоры людей обратились к затухающему костру. При слабом свете тлеющих головешек бледные лица трагедийными масками рисовались во тьме. Царило полное молчание. Возможно, потому, что их могли подслушивать, а может быть, и потому, что каждый хотел загнать свою скорбь поглубже внутрь себя, чтобы не ощущать ее горького вкуса.

«...и с первых же дней, как стал я работать в хозяйстве Матте Ларрангейра, задумал дать тягу оттуда, потому как нас заставляли с рассвета до темноты бродить по сельве, продираться сквозь заросли осоки карагуата́, пока не найдешь рощу дикой йербы и не притащишь на своем горбу в лагерь несколько арроб[1] *чистой, подсушенной листвы. А били нас — почем зря. Ну и решили мы — я и еще двое менсу — удрать. Собрали по узелку с едой — лепешки с жареным мясом — и ночью двинулись в путь. Нам надо было пройти чащобы Ресуррексьона, где мы никогда не бывали. Там мы и заблудились, натерпевшись жуткого страху. Ничего у нас не вышло. Нас разыскали, взяли на мушку и велели сдаться. Мы и сдались. Не убили нас по какому-то счастливому случаю. «Еще, сказали, не время вам подыхать»,— и повели в администрацию, а там сидит сам управляющий, Сехисмундо Гальярдо, пояс набит патронами, за голенище нож здоровый засунут...»*

Из рассказа менсу
Антонио Кардосо

15

Зазвонил колокол, громко и повелительно. Тяжелый язык раскачивался торжественно, неторопливо, словно в уверенности, что зов его не может быть не услышан и тот, кто отдыхает или работает в своих пищих ранчо и на лесных участках, не может не встрепенуться в испуге при звуках медного гласа, которого нельзя ослушаться. Колокол умолк, но минуту спустя опять всколыхнул воздух звоном, и снова зашелестели банановые листы, пальмовые ветви и папоротниковые веера, передавая этот призыв, распоряжение, приказ, летевший из большого дома главной администрация. Наконец звон замер, и показалось, что весь свет обезлюдел, так стало вдруг мертво и тихо. Но через какое-то время вдали светлячком замерцал огонек и начал медленно приближаться, словно тащился с огромным трудом. Вскоре к первому огоньку присоединились другие — слева, справа, сзади, сверху,— и они протянулись по дороге факельным религиозным шествием, длин-

[1] Арроба — мера веса, одиннадцать с половиной килограммов.

ной светящейся цепью, рассыпанными бриллиантами ожерелья, блестками на коже лениво ползущей змеи. Вот скопище огоньков приблизилось и уже казалось тучей мотыльков, влекомых светом центральной усадьбы. Сказочное зрелище постепенно исчезало, светлячки превращались в человеческие существа из плоти и крови, пешие и верхами, каждый с фонарем, спешившие на зов хозяина. Ненавистный колокол призывал их веселиться, и люди подчинялись с той же покорностью, с какой на заре под этот же властный трезвон отправлялись на работу в йербаль.

Фонари, развешанные под широким открытым навесом у дома администрации, тихо покачивались на ветерке, бросая причудливые блики: то вспыхнет желтизной солома кровли, то сверкнут белым крепкие стропила, то заблестят крупы лошадей, привязанных неподалеку, или на какой-то миг поголубеет там и сям таинственная темень ночи, которая тщетно старалась поглотить этот пляшущий свет. Ночь отступала, но лишь на те мгновения, когда фонарь кивком велел ей отойти.

Справа под навесом поставили ряд длинных скамей. Земляной пол чисто подмели. Дверь в дом была полуоткрыта, и там виднелась груда мешков, на которых стояло несколько пар красных и синих туфель, ящики с мылом. Слева под навесом уже сидели музыканты — аккордеонист и два гитариста. Они устало склонились над инструментами, едва шевеля, как в полусне, худыми смуглыми руками. Обвислые густые усы аккордеониста сплетались с его нечесаной бородкой, уткнувшейся в желтый шейный платок. Щуплый мулат перебирал струны длинными, проворными пальцами, уронив на колки лохматую голову. Его товарищ низко нахлобучил на лоб шляпу, из-под которой выбивался темный клок волос, не вязавшийся с ярко-рыжими усами. Им дали бутылку кашы, и они приложились к ней раз, другой, третий. Высосав ее до дна, еще долго и скорбно на нее смотрели, а потом вдруг рванули польку.

Когда Адольфо и Рамон подошли к навесу, сидевшие у входа капатасы встали и обыскали их. Но братья успели надежно схоронить свои револьверы. За ними к площадке потянулись другие. Сначала явилось несколько менсу с изможденными лицами, сразу, будто по молчаливой указке, усевшихся на скамьи. Вошли старуха и девчонка лет тринадцати с пухлыми губами и едва обозначившейся грудью. Затем пришли капатасы. Крепкие, здоровые пар-

ни, поигрывая оружием, раскатисто хохотали и громко переговаривались, словно других людей тут и не было.

— Вон и бабы идут,— воскликнул один из них.

Супружеские пары входили боязливо, робея при виде начальства. Женщин тоже обыскивали, не упуская случая пощупать груди и бедра. Мужья шли налево, а женщины, пугливо озираясь, рассаживались напротив.

Когда людей набралось довольно много, вошел Альика. Теперь он казался приветливей. Кивнул всем головой, потрепал по плечу музыкантов и весело крикнул:

— Ну, начинаем! Эй, Лауреано, сегодня ты распорядитель!

Над площадкой неслись звуки польки. Какой-то странного вида человек с рыжеватой бородкой и в смехотворно коротких бомбачах встал в центр круга и принялся командовать, распределяя женщин. Составленные пары тотчас, одна за другой, включались в танец, медленно кружась по утоптанной сухой земле, поднимая альпаргатами и босыми ногами легкую пыль, от которой саднило в горле. Танцоры двигались вяло, томно покачиваясь, порой слегка, по-куриному, подпрыгивая. Распорядитель, хлопая в ладони и резко взвизгивая в такт музыке, старался расшевелить танцующих. Но веселье не разгоралось. Рамона кто-то тронул за плечо — ему передали большой кувшин с каньей.

— Пей, хозяин угощает, дон Альика платит...

Рамон отхлебнул и передал дальше. Кувшин быстро обошел весь круг. Мужчины сразу оживились, глаза загорелись. Угрюмо молчавшие менсу осклабили в улыбке беззубые черные десны или ослепительно-белые зубы, посыпались колкие шутки. После хозяйского пойла люди пили уже за свой счет. Кроме каньи продавали водку и парагвайскую сопу и чипу [1]. Кое-кто угощал распорядителя в надежде заполучить партнершу получше. Но предпочтение отдавалось капатасам. Лишь немногим пеонам, участвовавшим в танцах, доставались женщины. А женщины были все, как одна,— худые, желтолицые, с глубокой синевой под глазами, с жилистыми, натруженными руками. Видно, сильно изматывала их работа в йербалях наравне с мужчинами, не говоря о домашних хлопотах — как говорится, от вечерней звезды до утренней. Некоторые страдали зобом, и круглые мясистые наросты на шее служили как бы эмблемой их несчастья. За исключением девочек

[1] Сопа — лепешка с луком и креольским сыром. Чипа — хлеб из маниоки.

двенадцати — пятнадцати лет, все остальные уже не имели возраста. Большинство из них, не достигнув зрелости, были вынуждены уступить свирепому домогательству самцов-мужчин и впредь им уступать, так и не достигнув расцвета, которым природа одаривает каждое растение и каждый цветок, наполняя его ароматом, так и не изведав кипения крови, которая бурлит весной в каждом животном сельвы. В двадцать с небольшим они уже казались сухими деревцами с блеклой зелепью. Впалая грудь, узкие бедра, бледные губы. Адски тяжелая работа спешила сузить круг их жизни, да и дети высасывали из них последние соки, превращая в настоящие мумии. Тем не менее они еще находили в себе силы танцевать, хотя и без всякой охоты, думая о той работе, за которую надо снова приниматься несколько часов спустя. А сейчас они были всего лишь покорным орудием в цепких руках капатасов, легкой добычей голодных зверей.

Танцевальные пары заняли центр площадки: безвольные, робкие женщины и распаленные водкой мужчины. Босые ноги и грубые башмаки сближались, расходились, топтались на месте, кружились, уходили и снова возвращались, чтобы продолжить игру. Когда музыка смолкла, мужчины бросили женщин, и танцующие разошлись, даже не кивнув друг другу, будто незнакомые люди, вдруг очнувшиеся от одного и того же приятного, но случайного сна.

Неподалеку от танцоров курчавый, как баран, капатас Фалейро препирался из-за партнерши с тощим менсу, который твердил:

— Я тоже хочу с ней танцевать, она моя...

Капатас ткнул его в грудь так, что менсу отлетел на три шага назад, и презрительно проговорил, рванув к себе женщину, которая стояла ни жива ни мертва:

— Ну, ты... Мне дал ее распорядитель. Он тут главный... И не лезь, пока цел...

Подошли — не спеша, угрожающе — еще два капатаса и встали рядом.

— Хочешь схлопотать по шее? Поможем...

— Ничего я не хочу,— пробормотал струхнувший мепсу.— Мне нужно домой, и жене тоже. Уже поздно.

Парни ухмыльнулись, и один из них произнес, медленно и внушительно:

— Зря не трепись. Кто сюда пришел, без позволения хозяина не уйдет.

Оставшись один, тщедушный мепсу подсел к Рамону. Тот похлопал его по плечу, желая приободрить.

— Он ее весь вечер от себя не отпускает,— с трудом произнес мепсу.— Подговорили этого Лауреано, ну и...

— Зачем же ты ее привел?

— Не знаешь, что ли? Хочешь не хочешь, а надо приводить. Не приведешь жену, так все равно за ней придут, в ранчо влезут...

Он говорил хрипя, задыхаясь. Рамон, пагнувшись к нему, с трудом улавливал обрывки фраз.

— Никуда не денешься. Говорю им... больной я, мы не можем идти... А они говорят... давай, иди... там тебя быстро вылечат...

Сзади послышался злой голос пеона-негра:

— Знаем мы эти танцы. Видал вон тех? — Негр кивнул на капатасов.— Так вот. У них нет своих баб. А когда им надо, приходят и берут здесь любую.

На площадке все быстрее кружились пары, все крепче прижимались танцоры к своим партнершам. Рекой лилась канья, мужские руки все чаще скользили с женской спины на талию, все ниже, жадные и нетерпеливые руки, пока еще повинующиеся правилам танца. Ноги выписывали замысловатые фигуры, тонкие тела женщин гнулись назад, едва не падали на колени под диким натиском мужчин. Наконец один из капатасов исступленно заорал:

— Посторонись! Я вам покажу, как надо плясать!

Люди освободили круг, и он в бешеном темпе стал выкидывать коленца, кружиться и при этом быстро, под музыку, сыпать короткими куплетами и прибаутками. Из-под платья женщины в стремительном круговороте выбивались белые, твердые оборки нижней юбки, сильно накрахмаленной, чтобы к длинному подолу не липли пыль и грязь земляной площадки. После, казалось, нескончаемых вихревых вращений танцоры без сил рухнули на скамьи под шквал аплодисментов.

Мепсу Галарса, у которого увели жену, стоял возле стойки, опорожняя стакан за стаканом и даже не оглядываясь на танцующих. Зато Рамон старался отыскать ее глазами. Но женщина как в воду канула. Под навесом было жарко и душно. Он вышел наружу, на свежий воздух, и сразу словно ослеп и оглох. Тьма набросилась на него со всех сторон, огромной рукой закрыла глаза и уши. На миг его поглотила величественная необъятность тропи-

ческой ночи, обдала бескопечным теплом маленького одинокого человечка, оказав ему эту милость. Минуту стоял он не двигаясь, пока не стал различать звезды, столбы под навесом, глянцевые крупы замерших на привязи лошадей. Его охватывала дремота, но вдруг он почувствовал толчок в плечо. Из-под навеса выходила пара. Мужчина тащил под руку женщину, что-то нашептывая ей на ухо. Рамон очнулся и сразу их узнал: курчавый, рыжий капатас и жена Галарсы. Видно было, как она сопротивлялась, не желая входить в стоявшее неподалеку ранчо. Но спутник силой втолкнул ее в дверь, и оба исчезли в узком черном проеме.

За ними уходили с площадки и другие парочки, направлявшиеся прямо к ближайшим зарослям. Рамон бессильно опустился на землю и забылся недолгим беспокойным сном. Внезапно очнувшись, он увидел бредущую обратно жену Галарсы. Вслед за нею вышагивал мужчина, помигивая огоньком сигары. Проходя мимо Рамона, она опустила глаза и вошла под навес. Танцы уже окончились. Рамон пошел за ней, спотыкаясь о тела пьяных, валявшихся среди разбитых стаканов, кусков парагвайских лепешек и корок чипы. Галарса лежал у стойки. Она осторожно приподняла его, обтерла рот и подбородок своим широким платком и стала что-то тихо говорить ему. Муж не подавал и признаков жизни. Рамон помог ей усадить

его на скамью, а она продолжала робко, терпеливо упрашивать:

— Пойдем, Педро, уже поздно... Yajhá yaké...[1]

Вдали хрипло взвизгивал аккордеон под пьяной рукой музыканта. Почти все уже разошлись, и даже свет фонарей заметно потускнел. А женщина все тоскливо уговаривала мужа, страдалица-жена мепсу из Альто-Параны, разделявшая судьбу всех остальных здешних жен, которые безропотно сносили измывательства, терпели горести и работали как каторжные.

— Yajhá yaké, Педро... Пойдем...

Он наконец приподнялся, тупо уставился на нее, но вдруг отрезвел. И его одеревеневший язык стал с трудом выталкивать изо рта тяжелые слова:

— А, это ты... Шлюха... бесстыжая! Я тебе... еще покажу!..

Ругательства увязли в глухом мычании. Галарса поднял было руку, но рука камнем упала вниз. Он издал еще лишь несколько членораздельных звуков:

— Я тебе... Ты еще напла...

Два капатаса, шарившие по карманам пьяных, похихикивали, забавляясь

---

[1] Пойдем спать... *(гуарани.)*

комичным финалом праздника. Рамон и Амелия подхватили Галарсу под руки и потащили, как труп, к выходу. Проснувшись двумя часами позже, Рамон снова увидел фигурку женщины, склонившейся над мужем,— она обеими руками распутывала его слипшиеся от пота, свалявшиеся волосы, шепча при этом нежные слова, словно желая смыть позор, от которого больше, чем кто-либо, страдала она сама. Утешая его, она облегчала свою боль.

Лучи солнца острыми ножами вспороли темное брюхо неба, а женщина все еще тихо и ласково причитала над бесчувственным, распухшим от каньи телом, которое распростерлось подле нее, то и дело сотрясаясь от пьяных всхрапываний и сиплого кашля.

ЗАВОЕВАНИЕ

Многое видела сельва на своем долгом веку. Видела, как наглые испанские солдаты расправлялись с непокорными индейцами, и не оставалась равнодушной к этой борьбе. Всем, чем могла, помогала индейцам, но не спасла их от поражения. Она знала, что не спасет, ибо сельва все знает, но тем не менее билась вместе с ними до конца. Затем пришли иезуиты. Хитрый, сметливый, коварный народец. Они сумели всех подчинить своей стальной воле. Солдаты победили индейцев, но не сумели заставить их гнуть спину на себя. Иезуиты подошли к побежденным иначе: вместо силы оружия использовали силу слова. Сельва сразу поняла, что это — более опасный враг. Она всегда видела и видит своего злейшего врага в том, кто придумал слово, изобрел речь и дал ее человеку. Сельва любит своих простодушных детей, понимающих друг друга без лишних слов. С помощью слова иезуиты поработили индейцев, подвергли таким униженьям, каких те не знали под властью меча. Индейцы утратили мужское достоинство, превратились в детей, в смиренных женщин, в жалкое подобие своих отважных, свободных предков. Иезуиты отняли их у сельвы, загнали в хижины, а хижины скучили в поселки. Научили выращивать йербу из саженцев, и больше не надо было ходить за ее листвой в лесные дебри. Иезуиты выдумывали глупые страшные сказки, чтобы индейцы не вернулись к своей матери-сельве. Рассказывали вздорные, отвратительные небылицы, извратив в своих корыстных целях прекрасные легенды народа гуарани. Так

появились страшные чудовища аб-аб, помберо, Тею, курию, И-пора, пожирающие тех, кто уходит из миссионерских поселков в сельву. Иезуиты оторвали сынов этой земли от природы, запугали, постарались отучить от свободы, от простого и мудрого образа жизни. Это были самые страшные враги сельвы, о которых она вспоминает со страхом. Но и они ушли. Снова воцарился покой. Увы, ненадолго. На несколько десятков лет, которые для сельвы не что иное, как мгновения, короткие секунды для древней сельвы, видевшей, как пролетали тысячи весен и лет, как складывались ржавые глыбы веков из крупинок дней и недель, казалось бы совсем одинаковых, но в действительности таких непохожих. Короткий отдых, однако, позволил сельве смело взять свои прежние владения, вторгнуться в земли, отнятые у нее иезуитами и солдатами. Добралась она и до иезуитских миссий. Бросила вперед отряды папоротников и колючих кустов. Велела ветру рассыпать там семена своих самых цепких и неприхотливых растений. Послала туда ос, пауков и ящериц. А когда грозная крапива, кактусы и лианы исипо́ прижились и размножились, когда молодые побеги превратились в ветвистые и крепкие деревья, сельва приказала им окружить храмы и дома колонизаторов, заполнить площади. И не устояли величественные здания, рухнули кровли, а колонны, роняя обломки капителей, припали к земле,— эти красивые надменные колонны! — униженно ее целуя, позволяя травам расти над собой. Кое-где лишь торчали голые стены, обломки порталов и арок, грудились глыбы камней да выступал из зелени длинный прямоугольник фундамента, напоминая, что когда-то здесь возвышался церковный неф. И эти остатки творений человеческих, исчезавшие в непроходимых зарослях, за ветвями деревьев и сплетениями диких орхидей, выглядывали только там, где позволяла буйная растительность, чтобы показать, как расправляется сельва с врагами. На развалинах храма святого Игнасио Лойолы, у одной из его полуразрушенных высоких стен, выросла гигантская смоковница — символ триумфа сельвы,— до тех пор тянувшаяся ввысь, пока ее крона не раскинулась над выщербленной мозаикой изразцов, над обломками красного камня, над церковным крестом, над художественной резьбой. Это дерево стоит там и сейчас как предостережение людям, как знак того, что сельва может отступить, но все равно вернется и жестоко отомстит насильникам. Туристам становится не по себе при взгляде

на эти руины. Страх их недолог, но картина западает в душу. Предостережение сельвы понятно. Если бы они остались там на ночь, то еще яснее и ощутимее представили бы себе ее мощь. Но никто не решается остаться. Никто не отваживается остаться с сельвой с глазу на глаз.

Да, это так. Сельва ничего не забывает. Она живет своей таинственной, неподвластной времени жизнью, которая течет, как сок по деревьям. Она хочет лишь одного, чтобы ее не трогали. Поэтому она вздрагивает и замирает, как ее красавица-дочь ядовитая змея ярара при виде врага, готовая наброситься и ужалить его. Сельва никогда не сдается. Она погибает, сражаясь, и даже при смерти не убирает когтей, как ее сын, гордый ягуар.

Суровая сельва всегда начеку, всегда пугает незваных гостей.

16

Братья Морейра явились поутру вместе с тремя десятками женщин и мужчин к зданию главной администрации. Всех разместили в повозках, называемых польскими фургонами и запряженных неповоротливыми мулами, которые побрели, не разбирая дороги. По правде говоря, и дорога-то была не из лучших. Мягкий краснозем размыли недавние ливни, и под ногами мулов чавкало бурое месиво. Колеса то и дело проваливались в колдобины, натыкались на камни. Люди изо всех сил цеплялись за борта повозок, стараясь при сильных толчках не валиться друг на друга, не стукаться о бортовые перекладины. Расплавленное солнце потоками лилось на светлые сомбреро мужчин и широкие платки женщин. Два малыша ревели не переставая. Во время одной из остановок возчик слез, чтобы подогнать мулов, и дал ребятишкам два завалящих грязных сухаря. Ручонки тотчас их схватили, маленькие острые зубы впились в черствые корки и стали так ожесточенно грызть, словно под твердой оболочкой было сокрыто невесть какое лакомство. Лица взрослых выражали полное безразличие, апатию, уныние. В начале пути мужчины обменивались впечатлениями, говорили о работе, на которую их везли. Но слова нанизывались медленно, лениво; говорили нехотя, без всякого интереса, будто все их воодушевление погасло там, в тавернах, где их обобрали, и на пароходе, где втоптали в грязь их человеческое достоинство.

— Года четыре назад я зарабатывал не меньше двенадцати аргентинских песо в день... — уверял худой как скелет менсу с длинным острым носом, который странным образом оживлял восковое, иссушенное лихорадкой лицо. Его нечесаную голову серебрила преждевременная седина.

Все молчали. Кое-кто повернул к нему голову, а в это время в воздухе просвистел бич, опустившийся на спины мулов.

— Н-н-о! Ведьма! Гринга... Чтоб вас!

Менсу продолжал тихим, таинственным голосом, словно заговаривая свой недуг.

— Было это в Пуэрто-Сегундо. Слыхали про такой? На аргентинской стороне.

— Я работал там в прошлом году, вон с ней,— вмешался другой пеон, сидевший в глубине повозки, и показал на худую старообразную женщину. Глаза его глядели молодо, но лицо было изрезано такими глубокими морщинами, что казалось застывшей гримасой.— Был метчиком деревьев у лесорубов.

Один из капатасов пришпорил лошадь, подъехал к повозке, испытующе оглядел людей и не спеша удалился.

Седой менсу продолжал свой рассказ медленным шепотом:

— Хозяина звали Мендес... Однажды подходит он ко мне и протягивает руку. Я в это время работал, а он, значит, похвалил меня. Молодец, говорит, такая работа мне нравится. Подумать надо, сам хозяин пришел и руку подал... С таким можно было работать. Никогда на нас не орал. Говорил, что с нами лучше по-хорошему, так больше с нас возьмешь...

— Ну да,— снова вмешался метчик,— это конечно. С меня и взяли, и дали тоже... Глядите.

Задрав мокрую от пота рубаху, он обнажил спину, и все увидели сеть желтых и багровых рубцов — немое свидетельство хозяйской щедрости. Словно жуткая варварская татуировка, диковинные узоры которой расписала по живому телу мощная рука какого-то безумца. Усмехнувшись горько и зло, бывший метчик заправил рубаху за пояс.

— Мендес? — робко спросил лесоруб.

— Откуда мне знать... Я хозяина в глаза не видывал. Над нами стоял управляющий, негр Кунди́. Будил нас до рассвета и не иначе как плеткой. Из рук ее не выпускал. Зверюга...

Рассохшиеся, несмазанные колеса повозки нещадно скрипели.

— А как вспомнишь о харчах,— заговорила женщина,— на рвоту тянет. Один червивый маис давали. Мы из него похлебку варили: кастрюля воды да ложка сала. А жаловаться нельзя...

— Н-но-о! Пошел!

Все снова помолчали. Тяжелое, частое дыхание вздымало грудь лесоруба. Рамон наклонился к нему.

— Малярия?

— Она самая,— отвечал тот с полнейшим равнодушием, будто эта жизнь ровно ничего не значит для него по сравнению со славным прошлым, когда он действительно был человеком, молодцом-лесорубом, властителем сельвы и ее сынов-исполинов. В его глазах светилась отрешенность игрока, который, спустив все до нитки и не имея ни малейшего шанса отыграться, смотрит на игру других совершенно без всякого интереса, просто так, чтобы смотреть. Лет ему было еще не много, но дни его были сочтены. Он, конечно, знал об этом и подчинялся судьбе со стоической покорностью индейца. Но, чтобы продержаться те несколько месяцев, которые осталось жить, он не мог не вспоминать то время, когда был на вершине славы, когда его звали с одних лесных участков на другие, когда произошло невиданное чудо: тот, кто господствовал над судьбами людей, лесами и деньгами, пришел и пожал ему руку, как равному. До и после этой поры его житье-бытье было таким же, как и у его товарищей по работе и по несчастью. Беды их были общими, наказания и оскорбления — одинаковыми, даже доконавшая его лихорадка точно так же пригвождала к койкам или распинала на земле тысячи больных пеонов в Альто-Паране. Стоит ли об этом думать? Жена умерла два года назад, сойдя в могилу вслед за двумя сынками. Он так и не знал, отчего они все погибли. От голода ли, от работы, от приступов лихорадки или от обычной чахотки. А разве мало семей пострадало так же? Это дело известное. Потому-то он ни вспоминать, ни слушать не желал о том, о чем знали и толковали все мензу. Будущее тоже его не волновало. Но те времена, когда он был первым в своем деле, именитым лесорубом, всем известным рольисеро [1], денежным парнем, который умел за-

[1] Рольисеро — лесоруб, который не только валит деревья, но и очищает стволы от коры и ветвей.

работать двенадцать — пятнадцать песо в день,— вот это стоило вспомнить!

Однако его никто уже не слушал. Солнце, москиты, болтанка на колдобинах сморили людей, которые хотели только одного — скорее добраться до места. Дороги уже не было видно, и повозки продирались сквозь заросли низкорослого кустарника, который в своем тропическом буйстве наступал справа и слева, стараясь заарканить пришельцев петлями лиан, наглухо закрыть брешь, пробитую человеком. Повыше, тоже с обеих сторон, колыхались жгучие венчики лесной крапивы, покачивала зелеными остриями осока карагуата, шелестели роскошные веера папоротников, за которыми сомкнутым строем надвигались гибкие тростины такуары.

Долгие часы кружили они по чащобе, разморенные жарой, измученные тряской, от которой болели все кости, утомленные однообразным великолепием сельвы. Монотонность нарушалась лишь руганью возчика, погонявшего мулов, да бегством пугливых игуан, скрывавшихся в зелени.

Когда наконец добрались до хозяйства «Санта Крус», на землю уже спустилась ночь. В доме все спали. Пришлось располагаться на ночлег под открытым небом возле деревьев. Из сельвы доносились пугающие звуки, а усталость иглами впивалась в избитые повозками тела. Но когда люди растянулись на земле, ночь накинула на них мягкое звездное покрывало и плотно сомкнула им веки, чтобы хоть на несколько часов оградить от всех невзгод.

17

Голова, склонившаяся над ворохом бумаг на столе, приподнялась. Блеснули жесткие серые глаза. Сначала уставились на лица Рамона и Адольфо, затем оглядели братьев сверху донизу, казалось, ощупали каждый мускул на руках, на крепких торсах. Наконец с тем же самым жестким выражением скосились в сторону капатаса Санчеса.

— А это кто такие?

Бумажка в руке капатаса дрогнула, он бросил на нее быстрый взгляд.

— Братья Морейра, сеньор. Вот этот — Адольфо.

Управляющий снова смерил их глазами. Они с сомбре-

ро в руках скромно стояли у двери. Он развалился в кресле и нацелил на Адольфо длинный, сухой палец.

— Ты лесоруб и пильщик, так?

— Так точно, сеньор.

— Ладно. Посмотрим, как работаешь, потом назначим плату. Отправляйся. А ты что можешь?

— Я тоже лесорубом могу. Но лучше бы — резчиком йербы. Я на резку и завербовался.

— Ну, нет. Здесь мне нужен только подручный в сушильню. Кладу тебе пятьдесят песо в месяц. Подходит?

— Но меня подрядили на сезонную резку. И сказали, дадут реал за арробу...

— Нет. У меня резчиков хватает. Могу дать только эту работу. Ну, решай!..

Адольфо поспешил ответить за возмущенного Рамона.

— Он согласен, сеньор. Что поделаешь... Раз уж приехали...

Санта Крус скользнул властным хозяйским взором по лицам людей, по мешкам, сложенным слева у стены, по деревянной стойке, протянувшейся вдоль комнаты, ибо это помещение служило и бухгалтерией, и складом, и лавкой.

— Ладно. Давайте расчетные книжки.

Оба одновременно полезли за пояс. Там, в кармашке, были спрятаны книжонки, замусоленные и помятые, с загнутыми страничками — свидетели похождений своих хозяев. Санта Крус, поплевав на пальцы, перелистал их. Вдруг вскинул голову и презрительно проговорил, глядя им прямо в глаза:

— Все эти записи — липа. Ни к черту не годятся.

— Но как же, хозяин... Ведь сам Фарипья их...

— Не морочьте мне голову. Знаю вас, негодяев. Все ваши штучки знаю!

Он наклонился и вытащил из ящика стопку других книжек, перевязанных бечевкой. Вынув из стопки две, бросил их с довольным видом на стол.

— Вы оба должны мне три тысячи двести аргентинских песо...

Братья в изумлении переглянулись. Они ждали любой подлости, но это было уж слишком. Триста песо задатка, полученного от вербовщика-турка, и еще двести, которые они, по их подсчету, могли потратить на женщин, канью и одежду, сначала превратились в девятьсот — как было записано в их книжках там, на пароходе,— а теперь выросли до трех тысяч, как заявил Санта Крус. Их надежды по-

крыть долг да поскорее унести ноги из этого хозяйства, которое они успели возненавидеть, еще не приступив к работе, внезапно разлетелись вдребезги. Три тысячи двести песо!

— Но ведь тут написано...

— Мне плевать, что там у вас написано... Важно, что стоит вот в этих книжках, которые турок Фариньа прислал мне с охранниками. Столько я заплатил за вас, столько вы должны мне и отработать. Или хотите обдурить меня? Это меня-то?

— Но как же... Как же эти книжки, которые нам выдали?

— Откуда я знаю! Может, вы сами там намарали... Но долг мне заплатите сполна. Понятно?

Трудно было обуздать бешеную ярость, от которой сердце громко стучало в груди, а кровь приливала к голове и, туманя разум, толкала на безумие. Они едва не бросились с проклятиями и кулаками на своих двух врагов, которые по ту сторону стола напряженно следили за каждым их движением. Трудно было сдержаться. Но они уже научились скрывать свои чувства. Взрыв не привел бы ни к чему хорошему. И братья стояли, опустив головы, пока предательский отблеск ненависти не погас в глазах. Когда Санта Крус снова испытующе взглянул на них, он увидел покорные, каменные лица. Но его нелегко было провести.

— Что корьентинцы [1], что парагвайцы — одна мразь,— сказал он Санчесу, когда братья вышли,— глядят на тебя как побитые псы, а зазеваешься, получишь нож в спину.

Как раз в это время, шагая к убогому, полуразрушенному ранчо, где им велели ночевать вместе с другими мёнсу, Рамон Морейра думал, с каким бы наслаждением он всадил нож в управляющего и поглядел, как тот стал бы извиваться у его ног. Точь-в-точь как ньяндурье [2].

18

Старик Синфориано уже давно работал в сушильне. Рамона определили к нему в подручные. Они дневали и ночевали в старом сарае, где стояла барбакуа [3]. Это про-

[1] Корьентинцы — жители аргентинской провинции Корьентес.

[2] Ньяндурье — небольшая ядовитая змея *(гуарани)*.

[3] Барбакуа — специальная печь для сушки листа йербы-мате.

жорливое чудище никак не могло насытиться: только подавай охапки йербы в сушилку, поленья дров — в топку. Двуутробное божество требовало, чтобы двое его рабов постоянно ему прислуживали. Бывало, луна уже стояла на небе, когда они без сил валились на мешки йербы, но ненадолго. Все вокруг спали непробудным сном, а они уже снова были на ногах. Если удавалось, дремали днем, часа по два. Жара в сарае стояла убийственная. Оба обливались потом и работали почти нагишом, обмотав бедра тряпкой. Рамон Морейра был одновременно и подручным сушильщика, и истопником. Под палящим солнцем или по ночам, в душном застойном безветрии или в грозовую тропическую бурю приходилось таскать дрова из ближайшего леса. И тут только успевай поворачивайся, ибо барбакуа не затухает ни на минуту, огонь все время должен быть сильным и ровным. Рамон быстро выбирал подходящие деревья и обрушивался на них с топором. После того как дрова были заготовлены, предстояло самое трудное: тащить их на собственном горбу к сушильне. Спина сгибалась под тяжестью семидесяти или восьмидесяти килограммов. Первые двести метров преодолевались в общем легко, но затем раза три-четыре приходилось остановиться. Он не опускал тяжелую вязанку наземь, а прислонялся с ней к дереву и стоял, чтобы немного отдышаться и снова собраться с силами. Сучья до крови царапали спину, бередили вчерашние раны. Ему до смерти хотелось броситься на землю, забыть обо всем на свете, дать отдых ноющему телу. Однако он шел вперед с упорством слепой лошади, думая лишь о том, как бы скорее дойти и сбросить тяжелую ношу. Порой ему начинало казаться, что не хватит сил дотащиться до цели. Он брел вперед, согнувшись в три погибели и с трудом отдуваясь, а ему чудилось, будто он топчется на одном месте. И тем не менее Рамон добирался до цели. Не веря собственным глазам, вдруг оказывался перед сараем — весь мокрый от пота, зубы стиснуты до боли в челюстях. Швырнув дрова в топку, он на несколько минут ничком бросался на мешки, если поблизости не шныряли канатасы. Всего на несколько минут. Топка не ждала. Огонь не должен был ослабевать ни на мгновение, иначе листья йербы не просохнут, загниют. Кровавые отсветы пламени плясали на груди и плечах Рамона, а он все кидал, кидал дрова в печь. Огненные язычки упорно, без устали прыгали под бамбуковой решеткой, где прогревалась йерба, старались лизнуть, обжечь ее, но

не могли до нее достать. А рядом, втянутые в бесконечную любовную игру огня и йербы, двигались днем и ночью два раба, как два загнанных мула, у которых под бичом погонщика неизвестно откуда берутся силы тащиться дальше.

19

— Лысый черт полосует людей почем зря. Одного парня из соседнего поселка запорол до крови... Страх смотреть, как отделал его своим teyú-ruguay [1].

— Санта Крус еще пострашней. Как падумает кого высечь, подзывает тихим голосом: «Поди-ка сюда, сынок...»

— Да... а у него две плетки из кожи тапира. Одна белая, другая темная...

— Он их «Рыжухой» и «Чернухой» зовет. Взбредет ему в голову спустить с тебя шкуру, велит связать тебя, значит, по рукам и ногам, а сам уж тут как тут со своей улыбочкой; глазки мышиные щурит и спрашивает ласково: «Рыженькой или Черненькой побалуемся, сынок?»

— Попадет он мне под руку... Прикончу.

— Выкинь из головы. Дорого обойдется...

— Почему?

Неслышно, по-кошачьему, к людям подкрался капатас. Его ручищи были пусты, но спереди за поясом поблескивали новенький кольт и мачете, а сзади торчала посеребренная рукоятка ножа. Как только заметили собеседники зловещую тень, погас блеск в их глазах и, как по команде, стихли голоса. Рамон Морейра даже не сразу понял, что случилось.

Один из менсу лениво затянул песню:

...Кто любит, тот отдает все-о-о...
А ты не даешь ничего-о-о...

Тоскливые, мелодичные звуки гитары хватали за сердце. Но скоро и она умолкла. Люди разговаривали шепотом, рассевшись под широким навесом киломбо. Это было такое же ранчо, хотя немного просторнее других, с четырьмя или пятью койками у стен. В одной большой комнате любовью занимались на глазах друг у друга. По ночам сливались воедино все звуки, вскрики на португальском языке и на гуарани. Даже воздух тут был не воздухом, а густой мешаниной терпких запахов — пота, дешe-

[1] Хвост ящерицы *(гуарани)*. Здесь: разновидность плетки.

вой пудры... Разговоров здесь не затевали. Женщин было мало, а желающих много. Супруга хозяина йербаля, доподная корьентинка, содержавшая этот киломбо, хлыстом подгоняла женщин, которые не спешили приглашать мужчин. Одновременно она старалась подслушивать разговоры выходивших обратно пеонов, которые, насытившись вялыми женскими телами, чувствовали потребность излить друг другу душу.

Повозка с мулами вся жизнь для меня-а-а...
Ты мне и жена и любимая-а...

Когда Рамон Морейра вышел из киломбо, затягивая пояс, он споткнулся в полумраке о тело, распластавшееся на траве. Рамон нагнулся, и в лицо ему ударило густым водочным перегаром.

Днем мы с тобой по лесам колеси-и-им...
Ночью мы мулов с тобой сторожи-и-им...

Вдруг Рамон увидел, что человек плачет.

— Ты что развалился? Чего ревешь, парень?

Пьяный попытался встать, цепляясь за его ноги.

— Ох, Морейра... Напился я... Вишь как? Но напился я с горя... С горя, говорят тебе... Помнишь жену мою, Флору... которую я из Посадаса привез? Ну так вот... У меня ее, брат, отняли... Отняли, aña membuy!..

— А... Ну-ка расскажи.

Айяла судорожно икал и никак не мог начать рассказ. Под навесом стихал голос певца. Наконец Айяла собрался с духом и поделился своей бедой. Управляющий заприметил его жену, пышнотелую парагвайку, с того самого дня, как он приехал с ней сюда. Однажды хозяин позвал его и предложил ему за Флору пятьдесят аргентинских песо. Айяла как можно смиреннее отказался от хозяйского предложения. С этих пор он света белого невзвидел. Капатас сек его по любому поводу. И вот однажды Айялу послали в лес выдолбить из древесного ствола поилку для мулов. Предчувствуя недоброе, Айяла торопился изо всех сил. Работу, которую другой не сделал бы и за десять дней, он сделал за пять. Но его держали там еще недели две, не отпуская домой и заставляя то деревья рубить, то просеки расчищать, то еще что-нибудь делать. А когда возвратился, хоть и ждал беду, чуть с горя не рехнулся. Особенно когда увидел в своем ранчо разбросанные одеяла и раскиданную утварь: знать, отчаянно сопротивлялась жена на-

сильникам. Потом Айяла узнал, что Санта Крус, поизмывавшись над ней с неделю, отправил ее в киломбо. Муж осмелился было протестовать.

— Ты что, указывать мне вздумал, пес паршивый? — ответил управляющий.— Да я с тебя семь шкур спущу! А твоя Флора и в Посадасе из бардаков не вылезала. Какая разница?..

— Да, но здесь-то по-другому, хозяин. Здесь она мне жена. А ты сам знаешь, что такое жена для...

— Ладно, хватит. Пошел вон, а если еще раз увижу тебя возле этого дома, запорю до полусмерти и отправлю в общий барак! Ну, убирайся, сволочь! — И так хлестнул беднягу плеткой, что у того до сих пор горел рубец.

Рамон еще не знал, что такое общий барак. Айяла терпеливо ему разъяснил. В лесную глушь, за сорок два километра от порта, ссылали строптивых пеонов под начало Анастасио Рамиреса, странного человека по кличке Бык. Ни один бунтарь не вернулся оттуда назад. Все пеоны об этом знали, и потому Айяла, зябко поведя плечами, повторил, что слышал:

— Там не бьют, а сразу...

В киломбо Айяла пришел повидать Флору. За пазухой спрятал нож, хотел прикончить ее, чтобы больше не убла жала всех подряд. Но та самая капья, которой он хватил для храбрости,— «Ты же знаешь, брат, если мы, парагвайцы, не приложимся к бутылке, то ни к черту не годимся»,— его же и сгубила. Айялу увидели, отобрали нож да еще избили немилосердно. Вот он и лежал здесь, измордованный, несчастный, икая и смешивая кровь и слезы с ночной росой. Только густая трава утешала его, а ночь скрывала от любопытных глаз; только природе дано врачевать оскорбленную человеческую душу. Рамон Морейра поднял его и, прижав к себе, бережно понес, как больного ребенка. Он не мог не сочувствовать переживаниям товарища: ему самому пришлось стать невольным участником этой драмы. Его вдруг осенило, что женщина, от которой он сейчас вышел, была эта самая парагваечка Флора...

20

Лесоразработки, куда послали Адольфо, находились где-то в глубине сельвы. Рамон подозревал, что их разлучили с умыслом. Рабочее время не было установлено, и трудиться Рамону, как и остальным, приходилось от вос-

кресенья до воскресенья, даже под проливным дождем. Вначале, когда он было поинтересовался рабочим днем, пеон Алегре тихо шепнул ему:

— Дело темное, приятель. Тут вкалываешь, пока тебя ноги таскают, ишачишь с утра до ночи, вот и весь сказ...

Алегре постоянно втягивал голову в плечи, словно боялся внезапного удара. Его работа состояла в том, чтобы подносить к сушильне огромные тюки йербы, когда сюда прибывали груженные доверху повозки. Он взваливал себе на спину тюк и, вцепившись руками в брезент, тяжело дыша, медленным, размеренным шагом шел к барбакуа. Иногда, сбросив тюк, Алегре падал на землю в изнеможении: все кружилось перед глазами. Но разлеживаться не приходилось: кругом да около бродили капатасы. На сей раз выпала счастливая минута отдыха, после того как утром была разгружена последняя повозка. Охранников не было видно, и он прилег подле Рамона на кучу листьев йербы, отер большим парагвайским платком мокрую от пота шею.

— Это самое настоящее рабство. Если тебе только порассказать... Работал я в Пуэрто-Паранамбу у Матнауды. Там, на парагвайском берегу. Зарабатывали мы по двадцать пять песо в месяц. Часто работали и после захода солнца. А если кто остановится, Матнауда орет как бешеный: «Пока yasechá ñandepó ñamba'apó vaëra...» [1]

Он задумчиво посмотрел на свои крепко сжатые кулаки, будто из них выжимались воспоминания.

— Страшный был человек, страшнее зверя.

Над решеткой барбакуа поднялась фигура старого Сипфориано, как огромная живая статуя на высоком постаменте из горячей, сухой йербы. Слушая разговоры, он никогда не бросал работу: его руки беспрестанно шевелились, словно раз и навсегда заведенные.

— Я вязал там плоты из бревен. Aña membuy! И застудил себе почки в реке. Бывало, как зарядят дожди, возишься по пояс в воде и никак с кругляком не управишься. Переждать бы непогоду, а Матнауда стоит на берегу с хлыстом в руке и орет: «Эй, вы, oky na ñamanó möai!» [2] И всегда так.

Рамон уже привык орудовать вилами. Подцепит большой ворох листьев и ловко подкинет на решетчатый на-

---

[1] ...видишь свои руки, работай... *(гуарани.)*

[2] Вода льет, но не убивает! *(гуарани.)*

стил барбакуа, а старик Синфориано тут же раскидает йербу ровным слоем для сушки. Рамон снова затеял разговор:

— И долго ты там был?

Алегре мотнул головой.

— Да года полтора. А потом сбежал. Не мог больше терпеть. Перебрался на аргентинский берег и дошел до Пуэрто-Сегундо. Хотел уже податься в леса, да вдруг наскочил на двух пеонов с капатасом. У них на руках было такое распоряжение из Паранамбу: «Вчера от меня удрали двое. Если увидите, пристрелите на месте».

Алегре подошел к дверям сарая и выглянул наружу. Рамону из его темного угла согбенный, приземистый Алегре на фоне светлого дверного проема показался большим пауком, который затаился в своей паутине, равнодушный ко всему на свете, уставший глядеть на одно и то же, на все эти ужасы и кошмары. Человек молча стоял, перепеснись мыслями неведомо куда.

— Ну, а потом?

Алегре досадливо поморщился, словно ему надоели расспросы подручного. Повернувшись спиной к солнцу, ответил:

— Случайно спасся. Я не знал, что в ту же ночь бежал еще один менсу. Его догнали почти у самого аргентинского берега, всадили три пули, и он пошел ко дну. Мне повезло. Я встретил хороших парней, меня не задержали. Вот какие хреповые дела, приятель!.. А если порасскazать тебе, что тут творится...

Но он вдруг замолчал. Увидел невдалеке капатаса, и страх снова взял его в тиски. Он втянул голову еще глубже в плечи, словно собирался нырнуть в яркий свет, как в воду, и, волоча ноги, вышел из сарая.

Больше ничто не нарушало тишину в сушильне этим тихим тропическим утром, жаркая тяжесть которого как бы приминала все шумы и шорохи. Порой только сырая йерба шипела над огнем, да зло похрустывали сухие листья под босыми шелудивыми ногами Синфориано. Но эти легкие звуки еще более подчеркивали тишь и безмолвие. Рамона так и подмывало заговорить с уру́[1]. Но, казалось, было невозможно нарушить застывшую тишину. Кроме того, старый Синфориано с каким-то фанатическим упорством шевелил и ворошил йербу, словно был уверен в том,

[1] У р у — сушильщик йербы *(гуарани)*.

что, остановись он на минуту, все замрет навсегда. Медленно и ритмично сгребал и раскидывал он палкой зеленые листья, смотрел, достаточно ли они просохли, и крался дальше по усыпанной листвой бамбуковой решетке, как пойманный ягуар, который кружит по клетке в тщетных поисках свободы. Рамон поглядел на него, поглядел, бросил вилы, расстегнул штаны и стал спокойно, как ни в чем не бывало мочиться в ворох йербы. Ручеек побежал сверху по листьям и устремился вглубь. Через дверь сарая врывался яркий солнечный свет, а с ним вместе москиты и всякая мошкара. Огромный, отливавший синевой овод сел на руку Рамона, который прихлопнул его не глядя.

ЗАВОЕВАНИЕ

Мы валим древние деревья,
Мы запруживаем реки, мы шахтами пронзаем землю,
Прерии мы измеряем, мы распахиваем нови,
Пионеры! о, пионеры!

Уолт Уитмен [1]

Кто они? Какая неземная женщина-мать наградила их такой дерзкой отвагой, такой невиданной смелостью и упорством, которые помогли им одолеть могучую сельву? Кто дал им силы идти своим путем, хотя, казалось, их ждали впереди одни неудачи и смерть и лишь ничтожная надежда на успех и на счастливый исход? Они были сделаны из неведомого крепкого материала. Позже одни назовут их героями, «пионерами», славными сынами родины. Другие — бандитами. Но что им до этого. Они шли вперед, только вперед, напористо и упрямо. Глаза их хищно сверкали под крепкими лбами. Рыцари безымянного, разноязыкого и разноплеменного ордена. Горизонтальная вавилонская башня, сложенная из представителей всех рас и народов. Войско, где нет ни дисциплины, ни командиров; его тактика очень проста — наступать. Словно сборище каторжников и насильников, враждующих, наглых и беспринципных. Они пришли из разных краев. Баски и немцы, французы и итальянцы, бразильцы и парагвайцы, аргентинцы и даже англичане. Почти все они сильны и здоровы, любители поесть и выпить. Среди них

[1] Из стихотворения «Пионеры! О, пионеры!» *(перевод К. Чуковского).*

бывали инженеры, ботаники, моряки. Но большинство — люди без определенных занятий, без профессии. Они шли на все, лишь бы сколотить капитал. Они хотели быть богатыми и власть имущими. Поэтому брались за любое дело, пробовали силы на любом поприще. Сегодня они строят дороги, завтра идут на охоту, исследуют, разведывают, измеряют, бурят землю, воюют с индейцами, с дикими зверями и с желтой лихорадкой. Они — медики и вояки, дипломаты и контрабандисты. Они опирались на закон, чтобы творить беззаконие. Если им везло, если они натыкались на бескрайние рощи дикой йербы, то затевали большие дела, эксплуатировали тысячи пеонов, превращались в современных рабовладельцев, хотя с виду, ни дать ни взять, благородные отцы семейства. И они шли вверх по социальной лестнице, стали оказывать влияние на политику, появляться на званых обедах, хлопать по плечу губернатора, завязывать тесные связи с официальными кругами Буэнос-Айреса, Асунсьона и Рио-де-Жанейро, штатов Парана, Рио-Гранде-до-Сул, Санта-Катарина. А в общем, оставались обыкновенными авантюристами, рыскавшими в поисках счастья, недоедавшими и недосыпавшими, жаждавшими наживы и желавшими лишь одного: разбогатеть. Они — прямые потомки тех головорезов, что завоевали американский континент. Или «пионеры». Кто их знает. Да, впрочем, это не так важно.

Они искали природные богатства. Но их уже не манил блеск серебра, сверкание золота в речном песке, железо, спящее во тьме веков. Их не так сюда влекли медь и олово. Они неплохо соображали и поняли, что в этих отсталых странах добыча руды окупается плохо, а поиски драгоценных металлов связаны с риском. Богатства, которые они искали, не скрываются под землей, не прячутся в скалах, не требуют спуска в страшные пропасти. Они таятся в сельве, растут на свободе под ласковым солнцем. Их много. Вон они, там, за густыми зарослями. Надо только высмотреть их, пробиться к ним с мачете в руках, проложив многие километры тропинок в сельве: найти их, этих стройных, высоких красавцев с белесой корой, многим из которых более ста лет. Двадцати-тридцатиметровые деревья тянутся в жаркие объятия солнца, оставляя под собой зеленые дебри кустов и лиан. Рощи йербы похожи на апельсинные сады, но листья деревьев йербы совсем другие — грубоватые, почти как у дуба. А когда их раскрошишь, пахнут терпко и остро.

Из-за этого дерева теряли сон и покой упрямые люди. Ради него проходили сотни лиг, преодолевали реки, скитались по аргентинским, бразильским и парагвайским лесам. Ради него отваживались проникнуть в заповедную область — в Альто-Парану. Сначала надо было подняться вверх по «Великому несущему пути», преодолеть кипящие пеной пороги Апипé и Итусаингó. Затем начинались блуждания по дикой сельве, сражения с мириадами ее цепких зеленых щупалец. Иногда удавалось пройти не более лиги в день. А порой и того меньше. Идти приходилось гуськом, по узким, опасным зеленым коридорам. Здесь никто еще не был до них. Они — первопроходцы, «пионеры». Грязь липла к сапогам, заковывая ноги в кандалы; ветви стремились снова сомкнуться, стегая лица и плечи; скользкие камни мешали идти, шипы и колючки рвали в клочья одежду, впивались в тело. Но отступать невозможно. Только вперед, до конца. До тех пор, пока не сойдешь с ума, как это случилось с авантюристом Жоаном Бритосом. До тех пор, пока не умрешь от желтой лихорадки, как Сантос Гонсалес и многие другие. Пока не пропадешь без вести, как Жан Массена, с которым, возможно, расправились индейцы-тупи или бугре. Но захватчики шли и шли: Хуан и Франсиско Гонкочеа, Фелипе Тамареу, Луис Арречеа, Карлос Бозетти, Джон Брэй, Марселин Буа, Хуан Антонио Урибе, Ледесма, Молеро. Именам несть числа. Многие гибли в нищете, оставляя память о себе, как Бозетти, имя которого увековечено в названии одного из водопадов Игуасу́. Немало осталось в живых и богатело, но их имена разве что вспыхивали спичкой и тут же гасли в памяти мучеников-рабов. Одни исчезали, другие оставались.

21

День рождения хозяина был объявлен праздничным днем. Первый праздник с тех пор, как Рамон стал работать в этом хозяйстве. Жаркий, тяжелый воздух едва взбалтывался яркими крыльями огромных сверкающих бабочек. Тонко звенели москиты, листы раскидистых папоротников никли к земле, словно жаждая еще раз прикоснуться к прохладе перед тем, как умереть.

Рамон шел опустив голову, погрузившись в свои думы и только тогда заметил, что идет мимо ранчо Галарсы, когда рядом раздался громкий взрыв хохота. Сухие пальмо-

вые ветви, покрывавшие ранчо, свисали со всех сторон до самой земли, но сверху были настелены свежие, чтобы дождевая вода не просачивалась в щели. Возле хижины собралась толпа погонщиков, возчиков и набивальщиков[1], которые развлекались шутками Анастасио, неистощимого балагура. На этот раз мишенью служил молодой парнишка-погонщик, у которого сквозь дырявые ветхие штаны просвечивали ягодицы.

— Прикрой зад, не то примут невзначай за бабу...— дразнил Анастасио парня, который стоял потупившись, стиснув зубы от вскипающей ярости.

— Правильно. Только народ смущаешь,— вторил Сириако Кинтана, а вокруг грохотал и разливался смех.

— Там, гляди, выродишь сразу двойню, как негритянка Паула...— снова уколол парня Анастасио.

Но не успел он договорить, как раздался крик:

— Эй, осторожно! Держи его!

В порыве бешенства парнишка бросился на своего мучителя. Грязный кулак сжимал костяную рукоятку ножа. Еще миг, и нож вспорол бы живот Анастасио. Пеон побледнел. Но несколько рук уже крепко держали погонщика, который отчаянно старался вырваться; на тонких растрескавшихся губах пузырилась белая пена.

— Дать ему разок по шее, чтобы успокоился,— сказал кто-то.

Остальные поддержали:

— Верно. Надо поучить его уму-разуму. Ишь паршивец!

Тут вмешался Сипфориано, сидевший в нескольких шагах от них подле высокого термитника.

— Да оставьте вы мальчишку... И так уж над ним поглумились. Кому нравится, чтобы тебя за бабу принимали...

Люди притихли. К словам сушильщика пеоны относились с уважением. Один взял воды и плеснул на голову парня. Другой сказал: «Лучше канью»,— и прижал к его зубам горлышко бутылки. Тот стал понемногу успокаиваться.

— Дайте мне нож,— продолжал старик и повернулся к парнишке: — Потом я тебе его отдам.

И лицо Сипфориано опять превратилось в бесстрастную маску, плотно сомкнулись губы, сквозь которые про-

[1] Имеются в виду батраки, набивающие в мешки листья йербы.

цеживались только самые необходимые, мудрые слова, и весь он опять стал похож на корявое вековечное дерево.

Рамон подошел к ранчо. На полу, на подстилке из пальмовых веток, под старым одеялом бился в судорогах Галарса. На страшно исхудалом лице блестели остекленевшие глаза.

— Вот так уже три дня. Меня не узнает...— всхлипнула Амелия.

Сидя на корточках, она помешивала в жестянке горячий травяной отвар. Рамон не видел ее со времени гуляпки около дома главной администрации. У него вдруг защемило сердце при воспоминании, как Фалейро тащил ее в свое ранчо. Женщина в смущении опустила глаза, словно и ей это вспомнилось. Ему захотелось что-нибудь ей сказать, завязать разговор, но на ум, как нарочно, ничего не приходило, и он вышел.

Тяжелый полуденный зной размаривал людей. Солнце жаром заливало дорогу, ожесточенно жгло каждый камень, каждое обронепное сухое полено, каждую залысину красной земли, но люди спасались в тени высоких курупикаев или приземистой марии-преты [1]. Прачка Мануэла заваривала для всех йербу-мате, а ее дочка Вирхиния разносила напиток. Из всех детей Мануэлы осталась в живых только одна эта слабоумная дочь. Ее то и дело что-нибудь отвлекало, она постоянно проливала воду и расплескивала мате. Каждый менсу пил мате по-своему, на особый лад. Старый Синфориано потягивал отвар самоуглубленно, не спеша, словно впереди у него была для этого целая жизнь. Последняя длинная затяжка сопровождалась громким бульканьем. Другие пили торопливо, не ощущая никакого вкуса, или, напротив, с паслаждением, бережно держа сосуд мате в руке, как нежный плод, и с сожалением его возвращая. Рамон распарился на жаре и до смерти хотел пить. Поэтому ему показался вполне сносным жидкий спитой мате, который ему дали. Мулат Кардосо сидел, прислонившись к дереву и обланив свою гитару. Его густой голос летел ввысь к кронам, отполированным солнцем.

Я нищий бродяга менсу,
приехал сюда из Паранамбу.
Приехал сюда погулять
я, нищий бродяга менсу...

---

[1] Мария-преста — разновидность кебрачевого дерева.

Все знали, что он сам сочиняет свои песни, и дивились его дару. Тяжелые, как горячий воздух, куплеты утешали, веселили, навевали воспоминания.

Растянувшись на земле, Рамон смотрел на красную ленту дороги, обрывавшуюся за ближней рощей. Муравей, бежавший к его носу, тоже был красный. Большезадый, с маленькой смешной головой, он закрыл собою дорогу, такой высокий, как далекие деревья инсиенсос и петереби, такой большой, как мул, лежавший в тени там, подальше. Когда муравей оказался у самых глаз, закрылся горизонт. Но вдруг Рамон уловил какой-то шумок и приподнялся на локте. В клубах красной дорожной пыли он разглядел пару сапог. Муравей сразу превратился в крохотную точку. Дорога, напротив, стала широкой, большой, как всегда, и по ней шел курчавый капатас Фалейро, который направлялся к ним. Почти все встали. Кардосо перестал петь и с мрачным видом начал перебирать беззвучные струны. Фалейро был в хорошем настроении. Со всеми поздоровался, стараясь приветливо щерить зубы. Но с его приходом все словно воды в рот набрали.

— Как живешь, Вирхиния? — спросил он, потрепав дурочку по плечу.

Девушка отпрянула в сторону, охваченная смутным страхом. Она боялась его с тех пор, как он изнасиловал ее около реки. Для Вирхинии это было не в новость. Время от времени какой-нибудь мексу, поборов отвращение, вызываемое ее идиотски отвисшей челюстью, пустыми глазами и странными телодвижениями, пробовал позабавиться с нею. Но, понятное дело, никто не получал от этого большой радости. «Ни рыба ни мясо»,— говорили потом неоны, даже в каком-то смущении, словно сожалея, что потревожили бедную дурочку. Она же не придавала этому значения, да и мексу обходились с ней не грубо. Не так, как Фалейро. Когда она инстинктивно стала сопротивляться, он начал ее бить и бил до тех пор, пока она не сдалась. С того времени при виде Фалейро ею овладевал ужас, навсегда поселившийся в глубинах ее больного мозга. И даже теперь, когда он снизошел до ласки, Вирхиния резко отпрянула и закрыла лицо изъязвленными руками. Всем стало не по себе. Фалейро нарушил молчание:

— Как там Галарса?

Ему ответил Синфориано:

— Лежит. Совсем уже плох.

— Посмотрим.— И Фалейро шагнул к ранчо, довольный тем, что разговор окончен.

Он привык орать на менсу и орудовать плеткой и поиному с людьми говорить не умел. Внутри лачужки было темно. Постояв на пороге и приглядевшись к темноте, он вошел.

Народ стал понемногу расходиться. Некоторые отправились с Кардосо, который пошел петь свои песни к другим ранчо, в трех километрах отсюда. Синфориано дремал на старом месте, а Мануэла с дочкой потащили к реке огромные узлы грязного белья. Вскоре не осталось почти никого. Рамона одолела лень. Он нехотя потянулся, не спуская глаз с ранчо больного Галарсы. Не прошло и нескольких минут, как Фалейро вошел туда, но Рамону казалось, что он находится там уже целую вечность. Рамон хотел отвлечься чем-нибудь, но не мог. И рёшил наконец подойти к этой пальмовой кровле, лизавшей землю желтыми языками сухих листьев. Он совсем не торопился, но все же добрел. Входить не понадобилось. Стоя у входа, Рамон увидел Галарсу, который все так же корчился на земле, выкрикивая непонятные слова на языке гуарани, бормоча что-то нечленораздельное, пуская темные густые слюни, с которыми, казалось, уползала его жизнь. Рядом с ним другой человек, обхватив огромной рукой Амелию, жадно целовал ее. Она пыталась отвернуть лицо от хищного рта, оттолкнуть огромное тело, клонившее ее к полу. Вдруг Амелия увидела Рамона. Фалейро обернулся, уловив ее взгляд, и тут же вскочил на ноги. Только тогда, когда Рамон убедился, что его заметили, он повернулся и медленно пошел прочь, засунув руки в карманы штанов. Оглядываться не стоило труда. Он знал, что капатас покинул ранчо умирающего и что красная лента дороги снова увела его отсюда.

В ЗАПАДНЕ

Бобы и вяленая конина. Вяленая конина и бобы. Тощее мясо резиновым комом катается во рту, липнет к зубам. Вязкая бобовая масса с трудом лезет в горло, тяжело переваривается. Еда не доставляет никакого удовольствия. Пеоны почти не жуют эти бобы и конину, поспешно глотая ненавистное варево. Неделями едят одно и то же. Впро-

чем, и от замены продуктов пища не становится лучше. Приходится переключаться на «тряпку», как прозвали вареное, точнее, до того вываренное мясо, что оно уже расползается на белесые волокна. К этому «мясу» добавляется кашица из толченого в ступке риса или маисовая похлебка, приготовленная на скорую руку каким-нибудь добровольцем поваром. Этой похлебкой набивают живот, а потом так и чудится, что маисовые зерна пускают там корни: после обеда мутит еще часа три. Особенно если зерна не толочь — а их обычно не толкут, чтобы они дольше не плесневели. Такую похлебку называют «дробовой», а мясо-«тряпку» едят, стараясь не думать о том, сколько раз его мяли и варили до того, как оно наконец попадает в желудок.

Так люди кормятся, пока работают в поте лица. Но дожди нередко прерывают каторжный труд в лесу, и тогда приходится валяться на койках или сидеть у своих ранчо, изнывая от скуки. А поскольку в хозяйской лавке уже отказываются давать в долг, то наступает такое время, когда и о «тряпке» с черными бобами приходится только мечтать. Вынужденный досуг — как и пустой желудок — надо чем-то заполнить, и потому пеоны часами сосут мате. Надо отвлекаться, и потому вспоминают про любовь. Полуживые мужчины ложатся со своими изможденными женами. «Не жизнь, а рай... Горячий мате, горячая любовь»,— горько подшучивают они над собой. Так проходят дождливые вечера и ночи, а едва тучи расходятся, мужья и жены спешат на работу. Он в сельву, а она в огород, и единственным ее развлечением становится созерцание собственного живота, который, будто назло, растет и растет. В положенное время рождается ребенок. Чудо из чудес, если он рождается живым. Но еще удивительнее, если он остается в живых, ибо многие дети покидают нашу бренную землю, не дожив и до трех лет. Но если, несмотря ни на что, они все же не умирают, то превращаются в хлипкие тонконогие существа, которых, кажется, может сдуть любой ветерок. Черно-синие жилки просвечивают сквозь желтую кожу, словно корешки, вздымающие сухую землю в поисках влаги. Уже в ту раннюю пору они очень походят на родителей, и не успеешь оглянуться, как дети становятся взрослыми. А в двадцать пять они так же стары, как их отцы, и тоже либо сифилитики, либо туберкулезники. Никто из них не отбывает воинскую повинность: когда из далеких поселков парни являются

на призывной пункт, врачи, отводя глаза в сторону, пишут: «Не годен...» Так родина отвергает их еще раз... и навсегда. А парни радуются, не чуя, что в этом слове — их смертный приговор. И тут же возвращаются в йербаль. Одним словом, йербаль их не отпускает от себя до тех пор, пока они в силах поднимать топор или мачете. Йербаль не скажет: «Не годен». Он не столь придирчив и принимает всех, даже этих хилых, больных людей, которых сам породил.

22

— Был я суший дьяволенок, а не мальчишка. Домой с улицы не загнать. Да никому до меня и дела не было. Жили мы тогда в Пуэрто-лас-Минас, рядом с Канделярией. Чуть пониже Сан-Игнасио. Слыхал про эти места? Там сейчас сажают йербу на плантациях, заложили огромные йербали. Не то что здешние в сельве. Глядишь, и в глазах рябит от рядов, и конца им нет. А земля хорошо обработана под посадками. Но в ту пору, когда я сопляком был, такого и во сне не видали...

Голос Лоренсо буравил тишину, темным, плотным пологом разделявшую их, добирался до слуха Рамона. Ночью сильно похолодало, и Рамон съежился под одеялом. Но колючий ветерок проникал сквозь одеяло, а с ним вместе и шелестящий голос соседа:

— Я любил затевать драки. Или девчонок местных тискал, или кур воровал и все, что попадалось. Но больше всего мне нравилось глазеть на тареферо. Они, бывало, как разживутся деньжатами у вербовщиков, так и разрядятся в пух и в прах: на шее платок цветастый, на ногах новые сапожки, на плечах — пончо, на голове широкополое сомбреро, и чего только на себя не напялят и выхваляются перед девками... Вот тогда я решил стать менсу. Спросил одного из них, какая, мол, у вас работа? Он мне и говорит: « А мы только деньги получаем да гуляем». Ну, я, понятное дело, совсем ошалел. Двенадцать лет мне было, когда я удрал из дому...

Рамон не мог спрятаться ни от ветра, ни от голоса. Его поражал этот словесный поток: молчаливого гиганта Лоренсо будто прорвало. Обычно Лоренсо едва головой кивнет, да и то не всем. Красивый парень, здоровенный, но слова лишнего не скажет, будто свою силищу бережет.

— Еще я тогда спросил, откуда они деньги берут. Мне сказали: «Хозяин дает». Я и отправился. Послали меня в Такуру-пуку. Леса там непролазные, сосновые боры да йербали. Мне платили по тридцать сентаво за арробу, а за обед требовали двадцать. Был я еще мал, все кости у меня болели от тяжелых тюков йербы. Тогда я пошел на хитрость — стал срезать только молодые листья да побеги. Но обман скоро раскрыли. Да, много я натерпелся, а радости никакой...

Голос замирал, тонул в глотке Лоренсо. Наступало молчание, и тогда ясно слышался храп Леандро и шумное дыхание других пеонов, живших в этом же ранчо.

— В сельве было много ягуаров, и трусил я страшно. Боялся от других далеко отходить. Нарезал йербы килограммов десять — пятнадцать в свой большой платок и скорее тащил обратно. Сафра продолжалась... постой... да, девять месяцев. Всех наконец рассчитали, и меня тоже. Знаешь, сколько мне дали? Четыре песо! Ломал, ломал спину и нажил богатство. Все отправились в городок погулять. Я тоже захотел и выклянчил у хозяев задаток. Мне уже исполнилось четырнадцать лет, я входил в силу и потому получил пятьсот песо на руки. Ну и погулял же я в те денечки!..

Голос дрожал теперь от радостного волнения, крепчал, победно звенел над спящими, повествуя об этих праздничных днях.

— Я как с цепи сорвался. За неделю спустил все, что имел. Каждый день гулял с разными бабами. Мне нравились большие и толстые, а они надо мной потешались. Накупил всякой одежды и раздарил пеонам, девчонкам и старухам... Ну а потом надо было возвращаться в йербаль. И пришлось мне тогда ой как плохо.

Рамон понял наконец, почему разговорился Лоренсо. В это воскресенье они сильно выпили да еще прихватили с собой тайком по бутылке каньи. И вот теперь великан к ней прикладывался: то и дело слышалось «хлюп, хлюп», словно где-то чавкали по грязи сапоги. Рамона тоже потянуло выпить.

— И вот, значит, приставили к нам одного канатаса-индейца, по имени Каасана́. Никогда его не забуду. Лютый был человек. На работе нас до полусмерти загонял. Я до кровавых мозолей стирал руки мачете. И решил удрать. Это — первый... мой первый побег из двенадцати.

Знай, что, пока не сбегу в тринадцатый раз,— не успокоюсь...

Рамон давно заметил шрам на правой щеке приятеля. Той же пулей ему выбило и передние зубы. Рамон спросил об этом у Лоренсо, когда они познакомились, и тот кратко ответил: «Стреляли сбоку. Чуть язык не отхватили. Но я так озверел, что меня смогли схватить только тогда, когда я уже раз семь всадил в кого-то нож...» Пламенеющий на темной щеке шрам представлялся Рамону костром в ночной мгле сельвы. Шрам, конечно, должен шевелиться, плясать, когда его хозяин смеется или плачет. Нет, чепуха. Лоренсо никогда не заплачет. Лоренсо — сам по себе, а этот кроваво-красный рубец сам по себе живет и движется на его лице. Может быть, он один из источников силы Лоренсо. Вот сейчас, думалось Рамону, когда великан с нескрываемой гордостью рассказывает о своих двенадцати побегах, шрам, наверное, тоже самодовольно дергается над его верхней губой и, может быть, именно он заставляет раскрываться и говорить этот изувеченный рот.

— Я запасся едой и ушел на заре. В котомке у меня был кусок вяленого мяса, штаны и две рубахи. Мне надо было перебраться через ущелье. Я прорубался вниз по склону с мачете в руках. Говорили, что там рыщет черный ягуар, и я шел ни жив ни мертв от страха. Но настоящий-то ягуар был Каасапа, живший у самого выхода на дорогу. Я про то не знал и чуть не угодил ему прямо в пасть...

Почему, как только разговорятся двое менсу, речь обязательно заходит о побегах? Удивительно. Рамон заметил это, едва только попал в Альто-Парану.

— Напротив дома капатаса был сарай с навесом. Видал такие? Там я и устроился на ночлег. Под самым боком у него. Понятно, он еще не знал, что я дал тягу, а я не знал, что лег спать возле его ранчо. Ну ладно, пришло утро, я опять пустился в путь, а он уже шел за мной по пятам с двумя парнями. Охота началась. Я думал, что встречи не миновать, и приготовился дорого отдать жизнь. Я пробирался лесом, а они шли по дороге. Дорога-то шла под гору, и мне все время было их видно. Когда они сделали короткий привал — поесть, поспать немного,— я и рванул вперед. А у самого почти трое суток во рту крошки не было. Ух, тяжело мне тогда пришлось! Захотел наконец выбраться из лесу и чуть на них не напоролся: идут

себе, разговаривают. А я даже не испугался! Правда, с той поры стал поосторожнее. Потом мы вышли к берегу. Я попросил одного парня перевезти меня на лодке на тот берег. Он, конечно, мог меня выдать, но делать было нечего. На сей раз мне повезло. Когда Каасапа стал у него насчет меня допытываться, он сказал, что никого не видел. Индеец остался искать меня в лесу, и я спасся. Было мне тогда шестнадцать лет. Так я дрананул в первый раз... Эй!.. Ты, никак, спишь, приятель?

Нет, Рамон не спал. Он думал о том, что силач Лоренсо очень много знает и большой мастер рассказывать. Сам он так не смог бы... Картина за картиной проходили перед глазами Рамона, будто все это пришлось пережить ему самому.

— Потом работал я в Паранамбу, у Маседы. Видал ты когда-нибудь глаза ирара? [1] Так вот у него точь-в-точь такие глаза. Злые, холодные. Если невзлюбит, считай, что тебе конец. Мы не раз натыкались в лесу на трупы. Страшно было поодиночке в сельву ходить, мерещились привидения. Однажды послали меня искать пальму пиндо́. Я шел, шел и заблудился, сам не знаю как. Дело было к ночи, я влез на дерево и проспал там до утра,— ночью все равно из лесу не выбраться. Вот, значит, пробираюсь я утром с мачете в руках сквозь заросли и вдруг слышу стоны. Подхожу... И знаешь, что я увидал? Пеона, распятого на дереве. Ноги прибиты гвоздями к стволу, руки — к ветвям, да еще обмотаны проволокой. Дня два он уже так мучился. Чуть жив был от боли да кровью едва не истек. Потом он мне рассказал, что так с ним расправился Маседа, который увел у него жену. Скажи мне: почему бандит не мог прикончить его одним выстрелом? Так нет же, надо было, чтобы человек еще мучился до того, как отдаст богу душу. Дьявольская жестокость. Я беднягу недели две прятал, но он был так напуган, что, как только встал на ноги, тут же сбежал, и я о нем больше ничего не слышал. Но Маседа что-то почуял, стал принюхиваться ко мне, и я, не дожидаясь, пока он меня прикончит, сбежал. А он бросился вслед за мной, паразит...

Рамон перенесся мыслью к Амелии. Ее надо взять к себе, чего бы это ни стоило. Если не поспешить, ее уведет Фалейро. Рамон попытался снова представить себе его курчавую, как овечья шерсть, шевелюру, чтобы сильнее

[1] И р а р а — хищное животное, похожее на ласку.

разжечь свою ненависть, но голос друга отвлек. И он опять увидел перед собой силача Лоренсо, теперь уже на берегу Параны. Лоренсо крадется с опаской, то и дело оглядываясь назад. За плечами у него котомка и гитара. Вот он прячет вещи в камышах и бросается на белый песок. Но ему не спится. Большим черным пятном выделяется на светлом песке его тело. Вдруг Лоренсо вскакивает. Слышится какой-то шум. Он быстро кидается в реку, ныряет, исчезает под водой. Только чуть колышутся прибрежные камыши и из воды глядят настороженные глаза. К берегу подходят несколько человек, вооруженных с головы до ног... Рамон беспокойно ворочался на койке, пока комитиверо[1] обыскивали местность, обшаривали глазами реку. Но голос Лоренсо снова его успокоил. Погоня не удалась, преследователи ушли искать беглеца в другом месте.

— Тогда я сделал плот из тростника и пустился вниз по реке. От холода зуб на зуб не попадал. Пока я нырял, весь вымок и воды наглотался. Котомка, спрятанная на отмели, тоже промокла. Да, попал я в переделку. Ночь, однако, выдалась темная, и я надеялся незаметно добраться до аргентинского берега. Такой случай упускать было грех...

Рука Фалейро легла на грудь Амелии, но тут снова перед глазами Рамона закружился Лоренсо на зыбком тростниковом плоту и заслонил собою остальные видения. Великан боролся за жизнь на неспокойной строптивой реке, где ночная мгла может охранить от врагов, а может и утопить в стремнине. Быстрый поток нес плетенку, крутя ее и подбрасывая, вниз по течению. Лоренсо иногда забывался сном, но сырость и холод не давали уснуть, пронизывали до мозга костей. Вскоре ему показалось, что неподалеку берег. Без всякой опаски он направил плот к берегу и сошел на землю. Тут же вытащил из узла одеяло и пончо «чара́». Но вещи отсырели. Спички тоже. Он так обессилел, что бросился ничком на промокшее одеяло и сейчас же заснул. Рамон, захваченный рассказом, тяжело дышал, как тот измученный великан, над мокрой головой которого летали птицы, вспугнутые этим страшным пришельцем на рассвете.

— Но самое страшное было потом, когда я проснулся...

---

[1] Комитиверо — охранники, преследующие беглых менсу.

Лоренсо думал, что находится под Антигуа-Пареа или Карагуатеем, километрах в сорока от преследователей. Он пошел вдоль берега и скоро повстречал капатаса с отрядом пеонов, которые спускали на воду древесные стволы. Расспросил их. Но ушам своим не поверил. Оказывается, он находился в Пуэрто-Ньякундай, всего лишь в двух километрах от места побега! Промаявшись целую ночь на реке, он недалеко ушел от погони.

— «Извините меня, начальник,— говорю я капатасу,— никак этого быть не может». Ну и хохотали они надо мной, чуть животы не надорвали... Мне не верилось, что, плывя всю ночь по течению, я, по сути дела, кружился на месте да еще прибился к тому же самому, парагвайскому берегу...

— А потом? — Рамона так увлек рассказ о мытарствах друга, что он переживал их, как свои собственные.— А потом?..

— Я соврал, наплел им, что иду из Порто-Трез-де-Майо, из Бразилии, слыхал про этот поселок? Иначе капатас выдал бы меня Маседе, они между собой всегда столкуются.

Рамон вздохнул. Друг его спасен, и теперь он опять мог помечтать об Амелии. Но образ ее расплывался, или она являлась ему вместе с Фалейро, как в той отвратительной сцене в ранчо. Лучше было слушать Лоренсо.

— Так ты там и... остался? — спросил он.

— Нет. Как я мог там остаться? Потом...

Потом опять вербовка и опять тяжкая работа, снова издевательства хозяев и снова побеги. За плечами уже двенадцать побегов. Но он дал себе слово бежать из тринадцати портов. Пусть это причуда, но слово свое он сдержит. Тринадцать, ровным счетом. Лоренсо, уже немного осипший, хотя на помощь часто приходила бутылка каньи, продолжал сыпать датами, названиями портов, именами, ругательствами, историями о подвигах...

— Было это в Истуэте, прошлой зимой... Года три назад, в Пуэрто-Сегундо... Страшное дело было в Паране... Тамошний управитель — подлец, каких мало; его так и звали — «Чума»...

Лоренсо ухитрялся бежать отовсюду, изучил все способы побега: в повозках среди тюков йербы, в каноэ, вплавь, пешком, прорубая пути в лесной чащобе. Обычно пользовался покровом ночи, а однажды ушел средь бела дня, словно дразня капатасов. Он оставлял в дураках своих

преследователей во всей Альто-Паране, меняя имена, спасаясь в Бразилии от аргентинских хозяев, удирая в Парагвай от бразильцев и возвращаясь в аргентинскую Мисьонес, когда работать у парагвайцев становилось невмоготу. Лоренсо чувствовал себя непобедимым. Уверенность в том, что он может бежать, когда ему заблагорассудится, делала его счастливым. Двенадцать раз, не шутка...

— Вот сбегу отсюда, выполню клятву и успокоюсь. Пойду на какую-нибудь из этих новых плантаций йербы под Посадасом. Устал скитаться по миру. Но сначала нужно удрать отсюда.

Рамон понимал, что Лоренсо задумал побег. Ему и самому хотелось бежать. Он намекнул об этом Лоренсо, и тот дал понять, что не прочь взять его с собой. Такой ответ — проявление большого доверия к товарищу. Рамон только вздохнул. Сейчас его главная забота — Амелия. Ее надо взять к себе, нельзя отдавать Фалейро. И он промолчал. Решил остаться. Никто из них не произнес ни слова, но один молча спросил: «Пойдем вместе?» — а другой молча ответил: «Спасибо, брат. Сейчас не могу». Слова здесь не нужны. Чтобы двое менсу поняли друг друга, слов не надо.

Перед тем как заснуть, Рамон попытался набросать план действий, сказал себе: «Завтра же пойду...» Но усталость взяла верх. Ему привиделся страшный сон: пьяные капатасы напропалую обстреливают каноэ, в котором он с Амелией и Лоренсо плывет по реке. Они гребут изо всех сил, спешат и вдруг падают в воду, летят вниз, в бездонную пропасть. Он успевает подхватить Амелию, крепко прижимает ее к себе, еще крепче...

О случившемся Рамон узнал несколько дней спустя. Было это так: двое менсу, бежавшие вместе с Лоренсо, отстали от него и заблудились. Он вернулся за ними, и все трое оказались в ловушке. Две пули попали великану в голову, остальные, в том числе из винчестера,— в грудь и в ноги. Но до самого конца он не выпускал мачете из рук. Насмерть зарубил троих охранников. А потом в поясе у него нашли тринадцать расчетных книжек, перевязанных бечевкой. Рамон вспомнил, как хотелось Лоренсо пожить спокойно. После тринадцатого побега. Не исполнилась мечта великана. Но все же теперь он успокоился. Успокоился навсегда. С двумя пулями в черепе.

ЗАВОЕВАНИЕ

...до войны Тройственного союза с Парагваем [1], во времена господства и хозяйничанья парагвайцев на всей территории между Энкарнасьоном и Такуру-пуку туда устремлялось великое множество сильных и предприимчивых людей, которые, презирая опасности и лишения, бесстрашно проникали в сельву...

Многое сделали для провинции Мисьонес эти деятельные предприниматели, «пионеры»...

Из исторической хроники

Вперед, только вперед. Там ждала их слава и награда за все страдания. Дикие йербали. Ради них одержимые «пионеры» свершали тяжкие походы по зеленым коридорам лесных дебрей, где в полдень уже царит полумрак и лишь через каждую сотню шагов путь пересекают узкие солнечные лучи, с трудом сверлящие густую листву. Ради них яростно и неустанно обрушивались мачете на сочные стебли и ветви, оставляя за собой истекающие соком зеленые раны. Иной раз встречалась наконец искомая, желанная йербовая роща. Взору открывались темно-зеленые исполины. Усталость, лишения, расходы теперь должны окупиться с лихвой. Это — заслуженная награда за все страдания, это счастье и богатство. Дух захватывало от удачи! Торговцы Посадаса, Асунсьона и других городов предоставляли счастливцу неограниченный кредит. Недоступные простым смертным красотки так и вились вокруг нового креза. Но, бывало, работа в йербале скоро приходила к концу, а с ним приходил и крах всех надежд. Найденный йербаль состоял, увы, всего из нескольких сотен деревьев... И неудачнику надо было выбирать: или самоубийство, или новые поиски. Жизнь не ждала.

Но другие, бывало, находили действительно богатейшие «зеленые залежи», которые простирались на десятки километров. И тут начиналась вторая часть эпопеи. Удачливый авантюрист принимался хозяйствовать: нанимал тысячи рабочих, прокладывал дороги для мулов с повозками, закупал суда и скот, тратил тысячи и тысячи песо

[1] Имеется в виду война Аргентины, Уругвая и Бразилии (Тройственный союз) с Парагваем в 1864 г., а также эпоха правления (1844—1862) первого конституционного президента Парагвая, представителя крупной буржуазии К. А. Лопеса, который способствовал развитию капиталистических отношений в сельском хозяйстве страны.

на подготовительные работы. Но тайна скоро переставала быть тайной. О находке узнавал другой делец. И он устремлялся в этот дикий йербаль с другой стороны, прокладывая в йербовой роще дороги с противоположного конца. В итоге соперники сталкивались. Кроме топора и мачете пеонам в таком случае давали револьвер, а хозяева и капатасы не расставались с винчестером. У «смит-вессона» сиплый, зловещий голос. Люди падали наземь один за другим. Засады и ловушки поджидали на каждом шагу. Кости менсу — белых, индейцев, метисов разбросаны страшными вешками на разбойном пути лесных бандитов. Но бандиты-хозяева не хотели уступать друг другу. Ни у кого из них не было законного права на лес или землю. Никто из них не заключал договора купли, не регистрировал собственность. Им нечем оправдать захват йербаля. Прошлые усилия в счет не идут. Будущие — тем более. Нельзя терять времени сейчас. Только полезное время что-то значит в этой роскошной, непроходимой сельве. И обе банды действуют, не теряя времени. Надо добыть как можно больше йербы-мате, скорее ее обработать, вырвать добычу из рук конкурента. Срезать драгоценные ветки слишком долго. Проще и легче валить деревья. В лихорадочной спешке стучат топоры. Скорее, скорее... В карманы хозяев текли тысячи песо, в сельве терялись миллионы. Лишались жизни деревья, лишались жизни люди. Исчезли леса и поселки. Неимоверная тяжесть йербы-мате подминала под себя повозки, мулов, пеонов. Парагвай, Бразилия, Аргентина заливались ароматным напитком. В Европе начали поговаривать об этом чуде из continent sauvage[1]*. О чуде оттуда, из непроходимой сельвы, где забитые люди сражаются со временем во имя обогащения четырех-пяти проходимцев. Оттуда, где неистовствует алчность и безумие. Короче говоря — из царства йербы-мате.*

23

Она рождалась, выползала из норы крохотным прозрачным грибком,— капелька пота. Надо лбом, у самых корней спутанных волос, сливаясь с другими в большую блестящую каплю. Какое-то мгновение эта капля подрагивала на лбу, но тут же, влекомая собственной тяжестью, тихо, живой сережкой катилась ниже, обтекала бровь и

[1] Дикий материк *(франц.)*.

устремлялась к запыленной щеке, где задерживалась в складках кожи. Но ее догоняли другие капли, подталкивали, сливались с ней, и теперь уже струйка пота продолжала свой быстрый бег, будто по незримому каналу, прямо к подбородку, потом к шее, к голой груди Рамона. И так весь день. Иногда Рамон отирал лицо большим цветным платком, но ему надоедало без конца махать рукой, и он уже не обращал на это внимания,— живая статуя под струями пота, в грязи и в зеленых листочках йербы. Бывало, сон едва не валил Рамона с ног. Впрочем, и сам уру Сипфориано иной раз боролся со сном, хотя привык к такой работе. Если одному или другому и удавалось прилечь на несколько минут, то тут же надо было вскакивать снова. Здесь владычествует йерба. Здесь самое главное — ее интересы, ее благополучие. Люди же, люди не стоят ничего. Они наняты в услужение йербе. И потому должны непрестанно шевелить ее, заботясь о том, чтобы она не пересохла, не почернела. Надо постоянно быть над нею, ворошить листья, не спуская с них глаз, несмотря на удушливый, едкий дым. И так без конца, под солнцем и луной, пока собранная за время сафры йерба не пройдет через сушильню. Рабочий день уру не таков, как у всех остальных,— он не кончается с первой звездой и не начинается с первым лучом солнца. Сушильщик должен всегда бодрствовать, всегда быть наготове, работать не покладая рук. Ему нет отдыха и покоя, ибо только он сомкнет уставшие глаза, как йерба начинает бунтовать и возмущаться, глухо потрескивать и подгорать, наказывая своего слугу за нерадивость. От йербы не ждать сострадания. Уру кажется, что йерба только и ищет удобного момента, чтобы назло ему обуглиться. Если проспишь, если такая беда случается, горю уже не поможешь. Человек должен уметь не спать месяцы напролет, все то время, что длится сушка. Да еще должен быть горд своей работой. Сушильщик йербы — это вам не кто-нибудь! Нужно в течение многих лет портить в дыму глаза, иметь особое чутье и ловкие руки, чтобы стать хорошим уру. Инстинкт и опыт подсказывают, когда йерба достаточно позолотилась, когда листья надо перевернуть, отгрести в сторону, рассыпать новый ворох — и так сотни, тысячи килограммов. И тогда на уру глядят с уважением, и даже хозяин, бывает, пожмет ему руку, а так как сушильщик зарабатывает гораздо больше, чем тареферо, гораздо больше,— он может покупать себе женщин, и новые сапоги, и даже шелковые рубахи, паря-

жаясь, как настоящий сеньор. Правда, медленно и упорно ползет от щиколоток вверх к коленям и бедрам ревматизм, сводит болью ноги уже вскоре после того, как человек начинает топтаться на груде сырой йербы над огнем. Правда, глаза, слезящиеся в дыму, больше ничего не видят, кроме густого серого дыма, даже тогда, когда уру навсегда покидает барбакуа. Правда, вдруг человек понимает, что он ослеп и не в силах ходить, а тогда...

День за днем старик Сипфориано развертывал перед Рамоном пестрые картины пережитого. В молодости хозяева его ценили, он зарабатывал неплохо и жил «как король», даже свысока поглядывая на других пеонов, которым с ним никогда не сравниться. Но деньги, как вода, текли между пальцев,— все, что у него было, осталось в Посадасе или в местной лавке. Только теперь, старый и больной, он понял, жертвой какого подлого обмана он стал. Из него выжали все силы, все соки, как из спелого апельсина, оставив одну кожуру, и не сегодня-завтра выкинут отсюда на свалку. Он не мог отделаться от этой мысли, метаясь на груде йербы в своей тростниковой клетке.

Рамон смотрел на седые лохмы, плясавшие на его висках, на сеть морщин вокруг потухших, слезящихся глаз, на глубокие борозды под скулами, на горькие складки у рта, на иссохшую, костлявую грудь.

— Нет, что ты. Мне только сорок...

Рамон вздрогнул, вдруг поняв, что подумал о его возрасте вслух. Он давал сушильщику по меньшей мере лет шестьдесят. И вот, оказывается, перед ним был мужчина «в расцвете лет», а белые пряди волос уже касались краев могилы, как ветви плакучей ивы — воды. Вот, значит, что ждет его самого. Еще несколько лет, и, как дон Сипфориано, он станет слепой тенью самого себя, и его будут называть «старик Рамон». Сердце сжалось от внезапной тоски, и он начал остервенело орудовать вилами, кидая вверх охапки йербы, пока уру ему не крикнул:

— Эй, хватит, друг!

Почти круглые сутки работали они в сушильне, стоявшей недалеко от Большого йербаля, который ближе всех остальных йербалей подходил к зданию главной администрации, к дому Санта Круса. Но Рамону все-таки выпадало больше свободных минут, чем уру. Когда он забывался на короткие минуты тревожным сном и затем вскакивал, он видел, как Сипфориано не покладая рук сгребает и разгребает йербу, словно приговоренный к пожизненной

каторжной работе. Движения его рук были неторопливы, размеренны, точны. Слой йербы на решетке всегда был такой высоты, какая нужна для нормального прогрева листьев. Правильно высушить йербу — вот закон, которому следует беспрекословно подчиняться, ибо йерба идет в города, и люди, покупающие ее, хотят пить вкусный, бодрящий напиток. Их не касается, падает ли от усталости тот человек, который должен ее сушить, есть ли у него силы или он выжат, как лимон. Главное, чтобы йербаматe была хороша. А хорошо ли человеку — это никого не интересует.

Правильно высушить — вот главное. Это подтверждал горький опыт старика Синфориано. Если йерба подгорает, этого не прощают. Капатас орет, управляющий ругает на чем свет стоит, хозяин может выгнать в шею. «За что тебе такие деньги платили, негодяй!» — так накричали на беднягу Анастасио, которого отсюда недавно выгнали за то, что он недосмотрел впервые за пятнадцать лет. Анастасио тоже был уже стар и слабоват, а теперь и вовсе превратился в калеку, клянчащего милостыню у порога байланты в Посадасе.

— Так они делают: соки из тебя высасывают, а кожуру выбрасывают,— не переставая твердил Синфориано. Когда у него бывала охота поговорить, добавлял: — И правильно делают. Так нам и надо, дуракам. Не умеем постоять за себя. Легко нас вокруг пальца обвести. Мы как дети малые... Но, если бы я был молодым парнем, как ты, если бы я мог начать все сызнова...

Огонь, метавшийся под барбакуа и стремившийся лизнуть йербу, казалось, кинул на миг в глаза старика две искры, но только на миг. Сейчас же сухие жилистые руки уру снова принялись ворошить зеленую массу. Слова растворились в повисших клубах густого дыма.

Была глубокая ночь. Все вокруг спали в своих хижинах, крытых камышом и пальмовыми ветвями. Спали семьи, спали менсу. Кроны деревьев шелестели, словно донося дыхание спящих людей до вырубки, где в дырявом сарае, в сушильне копошились, двигались, работали как проклятые два человека.

— Если бы я мог начать сызнова...

Однако ни йербе, ни человеку не дано начинать сызнова. Жизнь у всех одна. Старик Синфориано знал это очень хорошо. Поэтому он только тихо ворчал, живым поленом перекатываясь в адском костре сушильни.

24

Люди возвращались из йербаля. Амелия сдала свой жалкий тюк йербы, который не весил и трех арроб. Ей хотелось поскорее вернуться домой, в свое ранчо, но от усталости она еле тащила ноги. Другие тоже едва брели. Это было унылое шествие: изможденные женщины, подростки с хмурыми, недетскими лицами; мужчины, выглядевшие стариками. Шла и Исидора, тощая, высокая, в окружении шестерых детей — словно худая голенастая кура со своим выводком. Все шестеро были маленькие, хлипкие, похожие на ее мужа, плетшегося сзади. Среди женщин из ближайших поселков она была единственной «замужней женой». Рядом шли Николаса, Роса и Консуэло, прибывшие сюда из публичных домов, как и сама Амелия. Консуэло слыла ветеранкой. Она побывала во всех киломбо Параны и Рио-Гранде-до-Сул [1], начиная с высокоразрядных и опускаясь все ниже и ниже. В конце концов, чтобы не умереть с голоду, она согласилась приехать в йербаль с тареферо Нуньесом. Но ей не хотелось здесь оставаться.

— Один здешний год стоит десяти годов там...— презрительно говорила уроженка Порто-Алегре, применяя к своему жаргону испанские слова и гуарани.

Остальные женщины были из Посадаса и Энкарнасьона. Но они уже притерпелись к жизни в йербалях. Приезжали в Альто-Парану с каким-нибудь неопом, потом возвращались на тротуар Бахада-Вьехи или в байланту, чтобы подцепить кого-нибудь другого, и снова оказывались здесь. Они спокойно смотрели на жизненные перипетии, они уже устали. Когда-то у них была красота или, по меньшей мере, молодость. Когда-то им шептали на ухо волнующие, незабываемые слова. Но все это быстро ушло. Так быстро, что теперь с трудом припоминались имена тех, первых, настоящих возлюбленных. Потом были безымянные менсу, почти всегда пьяные, чаще всего нахалы и гуляки, которых приходилось ублажать, чтобы выманить деньги, привезенные из сельвы — с лесоразработок и йербалей. В конце концов подошли эти серые будни, черные дни — впереди уже ничто не светило. Женщины ничего не ждали от жизни и довольствовались ее самыми ничтожными радостями. Получить пару ботинок взамен

[1] Парана и Рио-Гранде-до-Сул — штаты в Бразилии.

дырявых альпаргат уже было большим событием. Остальное не имело значения. Только бы их не трогали, дали спокойно покурить, попить мате, не спеша половить вшей да посудачить вдоволь. Но все-таки у каждой из них было свое имя и они занимали более высокое общественное положение по сравнению с теми, кто вконец изматывал себя в киломбо Альики. И вот они тащились теперь вместе с остальными усталыми мису, изредка перекидываясь грубоватыми шутками с возчиками и грузчиками.

Исидора, обернувшись назад, погрозила кому-то пальцем:

— Говорит, плохо срезано... Говорит, много веток, мало листьев... И опять не засчитал нам десяток килограммов. Не управитель, а жулик окаянный!

Амелия шла рядом и в душе восхищалась своей спутницей: Исидора с виду слабая, худущая, а такая стойкая и мужественная. Сурово очерченный рот, добрые, но прямо и бесстрашно глядящие в лицо любой беде глаза. Однажды она отчаянно влюбилась — никто так и не понял за что — в Аурелиано, хорошего малого, но дышавшего на ладан, и прижила от него этих шестерых ребятишек. Все, как один, пошли в отца — такие же тщедушные и хилые. Дети помогали родителям в работе: одни собирали оброненные листья, другие обдирали совсем зеленые побеги или сторожили узелок с едой. Но семья все-таки не могла свести концы с концами.

— Никак не накормлю их всех досыта,— говорила донья Исидора.— Ну, да ладно. Как-нибудь проживем, потихоньку...

«А сама она, наверное, вообще ничего не ест,— думала Амелия.— Такая тощая, что кости вот-вот вылезут из-под кожи, прорвут ее». Как есть скелет. Везде так и выпирают костяшки: скулы острые, лопатки торчком, ключицы как палки, а под истрепанным коричневым платьем можно все ребра пересчитать. Посмотришь на нее, сердце рвется. Но вся жалость тут же улетучивается, как только поглядишь в эти яркие, живые глаза, на эти упрямо сжатые губы, почувствуешь ее несгибаемую внутреннюю силу. Легко ли после целого дня работы в йербале прошагать три километра до своей лачужки, а потом приготовить ужин, да еще поговорить с людьми, позаботиться об одиноких больных в своей округе, ободрить павших духом. Даже умела возразить управляющим и капатасам так находчиво и так хлестко, что те отступали.

«Она что мать родная нам всем»,— заключила свои мысли Амелия, глядя на нее. И вдруг ей пришло в голову попросить у нее совета. Менсу понемногу обгоняли их, устало волоча ноги. Исидора внимательно слушала Амелию, прерывая ее только затем, чтобы задать ей нужный вопрос.

— А что тебе сказала ворожея?

— Сказала, чтобы я положила в мешочек несколько волосков Рамона, приворотного камня и серы и закопала у входа в ранчо. Но уже прошла неделя, а его все нет...

— Послушай теперь меня. Не верь ты этому колдовству.

— Как же так? Ведь все верят...

— Иди-ка, милая, прямо к нему, и не мудри...

Разговаривая, они заметно отстали. Их обогнал до Прето, как всегда улыбавшийся, в не по росту большой одежде; их обогнал Фелипе Касерес, скосивший глаза на стройные ноги Амелии; их обогнал старик Гумерсиндо с помутившимся от усталости взором, едва ковылявший,— трудно себе представить, что когда-то он ходил как все люди; их обогнал наконец Фариас, лицо которого казалось страшной маской. Амелия хотела отвести глаза, но не успела. Сплошная гнойная рана, а не лицо. Небольшие язвы росли, увеличились, источили всю здоровую кожу, изборождили щеки, скулы, добрались и до носа, который теперь почти совсем провалился. Амелия знала, что это такое. Это — одна из самых страшных болезней, распространенных в зоне Гуайры. Одна из многих бед, подстерегавших менсу в Альто-Паране. «Йербальная чума». Амелия почувствовала, как к горлу подступила тошнота.

Вот и дом. Она молча пожала крепкую, ласковую руку Исидоры и свернула на тропку к своему ранчо. Ныло все тело, руки бессильно висели, ноги заплетались. Как хорошо было бы, бросившись на койку, закрыть глаза и забыть обо всем на несколько часов. Но ее вызывали в управление удостоверить смерть Галарсы, скончавшегося месяц назад. Кроме того, надо было разобрать и постирать вещи покойного. Она заставила себя подняться, открыть сундучок и связать вещи в большой узел. Выйдя из ранчо, направилась к речке. Солнце быстро клонилось к горизонту и, словно мстя за свое падение, зажигало сельву последними лучами, обдавало огнем стволы гуаябир, кедров, ингг, петереби и лавровых деревьев. Через просеку было ближе к реке, но ей больше нравилась лесная тропка, которая вела

к уединенному и удобному для стирки месту. Она стирала у большого черного камня, а солнечный пожар полыхал в прозрачной воде. Но в какую-то минуту тьма накрыла лес, небо и воду. Последние дневные бабочки растерянно метались в воздухе. Маленькая сова кабурей села на ветку напротив женщины. Это была добрая примета, и на душе Амелии стало радостно. Она махнула птице рукой, и та, покружив над ней, улетела. Амелия тоже отправилась в обратный путь. Она шла опустив голову, с каким-то детским суеверием стараясь не наступать на упавшие листья, шла легко и даже весело.

Шагах в двадцати от своей лачужки Амелия словно очнулась и невольно отпрянула назад. Споткнувшись о поваленное дерево, упала и сильно ушибла ногу, но почти не почувствовала боли. В высокой траве у ее ранчо стоял Фалейро. Амелия поняла, что он ждет ее. Лежа на земле, она слышала, как стучит сердце и шумит кровь в голове, словно где-то бьется вода о речные пороги. Фалейро не было видно. Убедившись, что он ее не заметил, она осторожно раздвинула густые заросли и снова увидела его фигуру: он стоял там, прямой, коренастый, неизбежный, как рок, и с нетерпением покуривал сигару. Ждал, конечно, ее возвращения из йербаля, чтобы увести с собой. Она хорошо знала, чем это грозит. Или ей придется, после того как Фалейро ее бросит, тешить по очереди всех канатасов, или он, позабавившись вдоволь, отправит ее прямо в киломбо. Амелию затрясло при одном воспоминании об этом рыжем звере. Та ночь, после гуляшки в Пуэрто-Альнке была самой страшной, хотя в жизни ей всего пришлось натерпеться. Она, словно в поисках защиты, инстинктивно еще плотнее прижикла к земле и, осторожно раздвинув стебли, следила за ним. Фалейро нетерпеливо шагал туда-сюда около ранчо. Наконец бросил окурок и направился в другую сторону от реки. Амелия догадалась, что он пошел к жилищам возчиков расспросить про нее.

В это самое время его и увидел Рамон. Он хотел было повернуть назад, подумав, что Фалейро успел его опередить. Неудачное выбрал время. Но мужское самолюбие не позволило отступить. Если она могла отдаться Фалейро, то чем же он хуже? Прячась за кустами от рыжего канатаса, Рамон крался к темному ранчо. Ему показалось, что где-то рядом тихо заухала сова урукурея, но не повернул головы. Однако крик птицы повторился громче. Это показалось странным. Он оглянулся, и ему тотчас бросился в

глаза колышущийся светлый платок, разрывающий ночную дымку. Рамон без оглядки, напролом бросился через колючие кусты и увидел Амелию, маленькую, слабую, дрожащую. Но какую силу придала ей любовь, как горячи были ее губы, как нежны руки, как упруго тело! Неистовство их ласк вспугнуло птиц, которые улетели, уступив им место. Сельва оберегала влюбленных, и только густая листва тихо шумела, вторила им: «оу-оу-оу», словно тоже испытывая блаженство и разделяя их счастье. Сельва бывает добра к людям, как мать.

Все случилось так внезапно, что только теперь Амелия почувствовала, как колют ее обнаженную спину колючки и камешки. Рамон живо расчистил место своими большими руками и устроил удобную, прохладную постель из пальмовых листьев. Они лежали, усталые и счастливые, вытянувшись на зеленом матраце, источавшем свежесть и аромат, а глаза их лениво блуждали по колыхавшимся над ними лианам исино, по устремленным ввысь огромным веерам папоротника аманбайгуасу́, по сотам диких пчел, облепившим деревья. Но вот ночь накрыла наконец всех и все плотной черной сетью; никто от нее не спасся — ни лес, ни небо, ни птицы, ни люди. Амелия робко и благодарно взглянула на парня, с которым она успокоилась и расцвела, как расцветает пышный лесной цветок, окропленный росой. Зеленое золото сельвы — йерба — еще не украло у него силы, не истощило, как Галарсу, который и до своей смертельной болезни был совсем плох после бесчисленных тяжких дней, проведенных в йербалях. К ночи он падал с ног от усталости, и ему было не до ласк, а молодая жена порой не смыкала глаз до рассвета. Амелия шевельнула рукой, отогнав думы о прошлом, и взгляды их встретились, медленно скользнули по плечам, словно они только сейчас узнали друг друга.

Они еще не обменялись и дюжиной слов. Даже с тех пор, как увиделись впервые. Впрочем, слова не были им нужны. Он оперся на локоть и сказал, повернув голову:

— А ночь-то как темна...

Помолчали. Неподалеку двумя блестящими точками светились глаза птицы бобо.

— Да, темна, очень...

На дороге снова послышались шаги. Они осторожно выглянули из укрытия. Это был Фалейро, опять направлявшийся к ранчо. Увидев, что Амелии нет дома, он стал звать ее:

— Эй!.. Аме-лия!

Она в страхе прижалась к Рамону. Успокаивая ее, он целовал ей волосы, шею, грудь. Потом тихо опустился с ней на пальмовое ложе. Обе упавшие тени слились в одну, растворились в окутавшей землю мгле.

— Аме-лия! Che... co!.. [1]

От примятой листвы шел дурманящий запах. Из красной земли словно вливались в Рамона жизненные соки, придававшие ему сил, будившие желание.

— А-ме-лия!!

Шум шагов затихал вдали. Внезапно стихли и надрывные оклики. И почти в ту же минуту ее голова бессильно упала на листву. Да, теперь пришло полное изнеможение. Веки плотно сомкнулись, и темнота заполнила все: внутри и снаружи. Ночь не имела больше соперников.

ЗАВОЕВАНИЕ

Вместе с шестью солдатами Дутра подошел к индейскому лагерю Майданы и велел им затаиться в лесу, но при первом же его выстреле атаковать индейцев. А было в том лагере сорок шесть индейских воинов, вооруженных луками и стрелами. Вышел Дутра из чащи, повстречался с Майданой, и между ними произошел такой разговор: «Почему вы и люди вашего племени бежите от нас?» — «Потому что не с добром вы к нам идете».— «Нет, ошибаетесь. Зла мы к вам не питаем».— «Тогда брось ружье на землю и стой на месте».— «А вы бросьте свои копья и стрелы».— «Согласен».

Дутра бросил ружье, но индеец Майдана не выпустил лука из рук. Положение белого становилось опасным. «У тебя еще осталось оружие»,— сказал индеец, указав на мачете Дутры.— «Это не оружие, это орудие труда. Без него ни тропы не проложишь, ни ветки не срубишь, в лесу не пройдешь».

Индейцы поверили и побросали свои луки и стрелы. Тогда Дутра стал их уговаривать, чтобы они оставили тяжелую кочевую жизнь в сельве и занялись бы полезной работой; что они получат тогда ножи и мотыги, продовольствие и все необходимое; что не надо мешать христианам прокладывать к йербалям дороги, которые нужны им самим. Речь Дутры понравилась.

[1] Это я!.. *(гуарани.)*

С тех пор вся область Альто-Параны, от Корпуса до Игуасу, перестала таить в себе опасность для белых. Йербу стали собирать и на аргентинском берегу, более не опасаясь нападения индейцев...

Из исторической хроники

Индейцы каингуа были народом диким, невежественным, но добрым. Носили они лишь набедренную повязку, и единственным их украшением была янтарная серьга, вдетая в нижнюю губу. Хозяева-йербатеро дарили им свою старую городскую одежду и превращали в понурых, равнодушных к жизни рабов. Индейцев тупи постигла та же участь. Они давно обитали в зоне Сан-Педро, где росли великаны-кедры, почти круглый год кормившие индейцев своими орешками. В славные былые времена тупи заселяли почти всю территорию от Корпуса до Игуасу. По и там отыскивались девственные йербали на погибель индейцам, которых нанимали на работу за ничтожную плату. Мужчины оказались хорошими работниками, умелыми и честными. Женщины тоже были безответными и работящими. Ни у кого из них уже не было времени собирать ароматные шишки и не спеша сушить их над огнем. От каторжного труда ломило кости, ночные часы не давали отдыха. Одни не выдерживали и убегали, нередко получая пулю в спину. Другие безропотно тянули свою лямку, обычно заболевая чахоткой. Индейские племена быстро вымирали.

Тогда к работе в йербалях стали привлекать молодых парагвайцев и бразильцев, а также парней из миссий. Но вначале люди шли неохотно, боялись йербы и страшных легенд. Прибывал лишь преступный сброд, которому небезопасно было оставаться в городах и поселках. А сельва не проговорится... Остальные пришли позже; кого загнала нужда, кого брали обманом. Рабочая сила в йербалях была текучей. Работники часто менялись. Вербовщики не привередничали. Им надо было раздобыть и привести столько-то «голов». Правда, голов человеческих, но тем не менее эти люди были что рабочий скот. Недаром капатасов называли «погонщиками». Лихорадочная добыча зеленого золота не замирала ни на миг. Нужны были люди, их кровь, их кости, чтобы не иссякал темно-зеленый поток йербы. Если не находили людей в Посадасе, Энкарнасьоне или Фос-до-Игуасу, их искали в отдаленных бразильских

штатах, в самом сердце знойного, истерзанного Парагвая, даже в дальней аргентинской провинции Энтре-Риос. Первопроходцы-«пионеры» превратились в ненасытных, жестоких, хватких предпринимателей. Невиданная кровавая оргия разыгралась в Альто-Паране. Страшный ураган стяжательства понесся над сельвой. Настало славное время авантюристов, жаждущих власти и денег. Одним словом, укрепилось владычество йербы-мате.

25

Воскресенье. Солнечный жар обрушился на поселок, погруженный в сон и тишину. С утра никто не пошел на работу в йербаль. Однако людей заставили чинить повозки, чистить мачете и вилы, уравнивать дорожку у здания администрации, размытую недавними дождями. И вот теперь наконец менсу отдыхали, одни — растянувшись на койках в спасительном полумраке своих рапчо, другие — лежа в тени раскидистой марии-преты и лоро-негро; обменивались краткими фразами, паузы между которыми заполнялись звонким жужжанием оводов и москитов.

— Если дожди будут мешать, нам крышка...

— Да...

— Вчера почти ничего не нарезали...

Казалось, тут раскинулся лагерь умирающих. Повсюду распластанные тела, запрокинутые головы, закрытые или уставившиеся в синее небо немигающие глаза. И слова, ползущие ленивыми улитками от одного полутрупа к другому.

— Натерпелся я страху сегодня утром...

— А что такое?..

— Здоровенная ярара, на самой дороге...

Одним только москитам был нипочем полуденный зной. Густым облаком окутывали они свою жертву, облепляли недвижно лежащие большие руки, впивались в щеки, в открытые запястья и даже в щиколотки, высасывая последнюю кровь этих изможденных людей.

— ...здоровенная, толщиной в руку...

— Опасная тварь... Убил ты ее?

— Да...

Ответ утонул в шумном зевке. Мухи тоже беспокоили изрядно, но больше всего мучила мошка карачай [1]. Всем

[1] Карачай — вид москита.

известно, что от нее не спастись. Крохотная, невидимая глазу, она проникает сквозь одеяла и одежду, яростно впиваясь в кожу, расцвечивая ее красными пятнами, зудящими от укусов.

— Сегодня вечером, наверное, будут танцы у Николасы...

— Наверное...

Только женщины не отдыхали. Они шныряли туда-сюда, гремя посудой, отчищая кастрюли от пригоревшей похлебки, заваривая мате. У некоторых ранчо крыша была что называется «утиный хвост»: два ската в противоположные стороны, а сзади навес, под которым готовится пища. Но, как правило, хижины представляли собой обыкновенные «бендитос»: два ската кровли, которые упираются прямо в землю и соединяются вверху, как две молитвенно сложенные ладони, обращенные к богу сельвы, или к богу христиан, или к незатейливым и красивым древним божествам.

Одежда на женщинах была выгоревшая, сплошь залатанная, помятая. Порой взметнувшаяся вверх юбка какой-нибудь нагулявшейся девочки открывала крепкие, смуглые ноги, а широкий вырез кофты вдруг беззастенчиво выставлял напоказ грудь. Это зрелище, иной раз великодушно представлявшееся взорам менсу, их не трогало, непомерная усталость брала верх, глаза снова закрывались, и предпочтение отдавалось обыденной житейской радости.

— Эй, Паула, подай-ка мне терере́... [1]

Детишки старались держаться подальше от взрослых, чтобы невзначай не нарваться на случайную оплеуху. Однако матери собрались навести в воскресенье полную чистоту в доме и, берясь за острозубые, частые гребни, стали созывать детвору.

— Где ты!.. Луис!.. Понсиано!.. Хуана!

Крики летели по солнцепеку, проникали в лес, где ребята искали мед диких пчел.

— Николаса!.. Руперто!.. Вирхиния!..

— Хусто-о-о!..

Дети наконец появлялись, тощие, но почти все с большими, вздутыми животами, возможно от того, что они постоянно жевали красную глину или еще что-нибудь, стараясь заглушить голод. Грустные глаза на худых лицах, сухие ручонки, тонкие ноги, казалось, с трудом таскающие

[1] Терере — охлажденный мате.

эти хилые тела. Кожа да кости. Чудилось, что прозрачная кожа вот-вот прорвется, как бумага или тонкая материя на игрушках. Голод давно держал их своими цепкими пальцами. Они так привыкли к голоду, что не излечились бы от него, даже если бы пять или десять лет подряд ели досыта. Голод родился вместе с ними, как только они открыли глаза и потянулись к тощим грудям матерей, которые, бывало, без всякой охоты производили их на свет. Вечный голод, словно унаследованный от родителей. И, чтобы заглушить его, они часто жевали глину. Красную глину, забивавшую кишки, раздувавшую животы.

— Эй... Хусто-о-о! Поншано... Вот я тебе задам!..

И они, сопя, послушно становились в очередь, один за другим. Вот первый склонил колени перед матерью, уткнулся головой в юбку. Поиски тотчас увенчались успехом. Вредные насекомые погибали под острыми ногтями или находили смерть между белых зубов.

— Аурелия...

Мужчины лениво поднимались: приближался вечер, надо подготовиться к гуляпке. Но нежданно-негаданно явился капатас Чаморра.

— Дон Санта велел сказать, что гуляпки не будет...

Толпа пеонов недовольно загудела:

— Он же обещал... Это наш праздник, парагвайский...

— Точно... Нам надо его отпраздновать, хозяин разрешил...

— Нет.

— Но...

— Сказано «нет», и конец!

Чтобы сорвать закипавшую злость, капатас повернулся к одному из самых недовольных:

— А тебе уже говорили, что кур держать не велено. Понял?

Тот побледнел и закусил губы.

«Пес», как тут звали капатасов, удалился. Коллективный протест был подавлен в самом зародыше. Менсу были слишком забиты, чтобы бунтовать или даже возражать, видя, как рушатся их надежды хоть немного повеселиться; они слишком привыкли к плохому, чтобы бурно реагировать на удары судьбы. Солнце все так же нещадно жгло растения и людей. Но на поселок будто пала темная ночь. Все стихло и словно вымерло в этот унылый воскресный день в йербале.

26

И был он одним из тех, кто умел разговаривать с йербой.

Амаро Вильянуэва

Человек склонился к земле. Внимательно оглядел растения, траву. Застыл на минуту, но тут же снова рипулся вперед, врубаясь в заросли, ударяя мачете по веткам — слева направо, справа налево. Уже много часов двое мужчин прокладывали себе путь в сельве, не внемля зову тропиков прилечь и отдохнуть. У Рамона болели все мускулы, ныли суставы. Иногда он просто не знал, сам ли он взмахивает этой вот рукой, этой кистью, этим сверкающим мачете или этот твердый сплав плоти, мускулов, костей и стали влечет за собой его тело, неумолимо заставляет идти вперед. А монтарас [1] меж тем без устали продолжал свои поиски в сельве.

Они уже два дня шли вместе. Из провизии захватили с собой немного маиса, сухого хлеба и листьев йербы для освежающего терере. Из оружия, не считая мачете, у монтараса было старое ружье, у Рамона — «смит», с которым он не расставался. Впервые Рамон узнал, что значит прокладывать путь в дебрях, разыскивая йербали, впервые беспощадно расправлялся с сельвой, стремясь узнать ее тайны и найти ее клады. Руперто, казалось, родился лесовиком, так вжился он в свою удивительную и редкостную профессию первооткрывателя зарослей дикой йербы, которую затем будут кромсать менсу. Руперто был невысок и невзрачен на вид, похож на одного из тех кроликов, шкурки которых идут на шапки. Можно было пройти мимо, не обратив на него внимания, если бы не глаза. Маленькие, блестящие, пытливые глаза. Да и нос выдавал в нем исконно лесного жителя: широкие ноздри все время подрагивали, словно ловили бесчисленные запахи сельвы. Большой, от уха до уха, рот то и дело показывал редкие темные зубы. Руперто был жизнерадостным и разговорчивым малым. У него Рамон научился ориентироваться в лесу и выбирать правильный путь по незначительным приметам. Многие растения к вечеру клонятся туда, где гаснет солнце. Деревья же, напротив, всегда устремляют свои густые кроны навстречу солнцу: на южной стороне особенно густа и зелена листва. Монтарас охотно делился своей мудростью,

[1] Монтарас — неон, ищущий йербали в сельве.

словно верил, что любой, кто хочет познать природу, имеет право получить от нее ключи. Рамон всегда его слушал, тем не менее ему иной раз ничего не говорил налет пыли, цвет листвы или неясный след животного, но зоркий глаз Руперто ничего не упускал, и, не останавливаясь, будто между прочим, монтарас замечал: «Здесь шел олень»,— показывая на сломанные ветки, или: «Тут лез тапир позавчера»,— кивая на примятый тростник; «А здесь смотри в оба, не потревожь термитов». Когда они сделали небольшой привал, Рамон приготовил терере. Положив под голову туго скатанное пончо и полуприкрыв руками глаза, его товарищ смотрел на кусочки неба, просвечивающие сквозь листву деревьев. Они молчали, и птицы без страха прыгали по веткам и по тропке, только что прорубленной в чаще двумя вспотевшими мужчинами. Руперто тыкал то туда, то сюда указательным пальцем, узловатым и шершавым, приговаривая:

— Вон дрозд. А эта птаха с желтой грудкой — бентевео. Она извещает женщин о беременности.

Вдруг он настороженно прислушался, и его большой рот приоткрылся в улыбке.

— Тукап. Он самый. Когда мечется по лесу — быть дождю... И когда саракура поет — тоже.

Часами мог рассказывать Руперто о всяких зверях и птицах, о их привычках и повадках. О жерути́ — красивой, нежной голубке; о попугаях, которые, не переставая, кричали и верещали над ними; о болтливом, как пьяница, аранака́; о сороках, о ньямдае... Филин и сова кабурей — колдовские птицы. Чтобы уберечься от беды, старухи-ворожеи делают снадобье из муки и глины, куда замешивают совиные перья и женские волосы.

И так они шли, продираясь сквозь заросли, прорубая себе путь в чащобе. За их спиной полегли тысячи срезанных веток, сочились соком тысячи торчащих обрубков, разметались сорванные и втоптанные в землю листья, громоздились зеленые руины. Шипы кустарника кембеса рвали рубаху, чертили кровавые борозды на теле. Но монтарас уверенно шел вперед, ни разу не ошибившись, не свернув в сторону. Чтобы не сбиться с пути, непрестанно оглядывался, примечал оленьи тропы, глубоко вдыхал долетавший порой ветерок. Страстный охотник, он при всем том мог идти по следам стада диких кабанов, ничем себя не выдавая. У кабанов всегда есть вожак — «черный король». Если его убить, стадо разбредется и добыча сама идет в

руки. Ягуар и другие хищники обычно ходят к источникам с пресной водой; там можно устроить засаду и легко подстрелить их ночью, если они не учуют человека. А толстый тапир мборебй легко попадает в самую простую ловушку.

Рамон наматывал на ус все, о чем говорил монтарас. С виду невзрачный, маленький тщедушный Руперто оказывался хитрее страшных зверей, ловче быстрых оленей, знал каждое растение, не робел перед сельвой и распоряжался в ней, как дома. Монтарас показывал великолепный пример отваги, упорства, силы воли. Рамон поклялся быть таким же смелым и упорным, как Руперто. Ему не хотелось разделить судьбу простака-тапира, ибо до сей поры, он, в сущности, был глупым тапиром, который лезет напролом и оказывается в западне, устроенной хитрыми охотниками. А Рамону не хотелось оказаться в западне. В этом он был абсолютно уверен.

На третий день им стали попадаться отдельные деревья йербы, и монтарас сказал, что они идут по верному пути. Но идти вперед опять стало труднее, надо было шаг за шагом прокладывать путь сквозь плотные ряды тростника. Затем они шли вверх по реке через редкий лес, одолевали каменистые овраги и холмы, где сильно побили ноги. Им попадались соты диких пчел, сладкие гуаябы и другие плоды. Затем опять появились отдельные рощицы йербы, которые становились все гуще, и наконец к исходу шестых суток монтарас сказал, что они у цели. Вокруг раскинулся огромный йербаль: высокие деревья, казалось, упирались в небо. Неподалеку был и сосновый бор, но во всех оврагах и низинах теснились деревья йербы с густыми, раскидистыми кронами. Теперь можно было и отдохнуть, тем более что здесь, у найденного клада, их застала почь — и дальше идти было опасно. Они долго купались нагишом в протекавшей поблизости речке. Затем сгребли в кучу листья и, накрыв их пончо, устроили себе постель. Разожгли костер, и монтарас принялся за приготовление йербы-мате. Он взял мате, небольшой сосуд из высушенной тыквы, обтер его рубахой, насыпал в него толченой йербы и налил немного воды, чтобы йерба размокла, набухла. В это время над костром закипал старый, видавший виды котелок. Загрубелые, узловатые пальцы Руперто ловко ухватили котелок с кипятком, и монтарас умело, не пролив ни капли, заварил йербу, пригубил и протянул мате Рамону, добродушно проговорив: «Ну как? Подкрепишься,

корьентинец?..» И тепло этих слов уже само разгоняло усталость, утоляло жажду.

В темной пятерне Руперто подрагивал округлый, как женская грудь, мате, из которого торчала топкая тростниковая трубка, срезанная монтарасом у реки. Через эту тростинку он потягивал чудесный напиток, гордость Альто-Параны. Едва заметно шевельнутся губы, и тотчас рот наполнится душистой горечью. Затем живительная влага смочит глотку, желудок, все нутро, вливая бодрость и радость, согревая все тело. Рамон чувствовал себя наверху блаженства. «Точь-в-точь так бывало, когда я мальчонкой мочился ночью под себя»,— вдруг почему-то подумалось ему. Но вот на дне пустого мате жалобно забулькало, и пришлось оторваться от питья. Теперь черед монтараса, который зажал своими толстыми губами самодельную бомбижу [1]. Медленно потягивая йербу-мате, он сказал:

— Вот в такую же ночь мне привиделся помберо... [2]

Руперто знал все легенды Альто-Параны; он рассказывал подлинные легенды индейцев-гуарани, еще не переделанные иезуитами на свой лад. Он не говорил, от кого их впервые услышал, может быть, от индейцев-тупи, бугре или каингуа, еще бродивших по лесам Альто-Параны. Эти легенды были просты и прекрасны, и монтарас рассказывал их, рассказывал, пока глаза у Рамона не стали слипаться. Но мудрый монтарас не спешил ложиться спать. Днем они видели много змей, и надо было поостеречься. Мужчины вбили в землю четыре кола, натянув между ними у самой земли кожаные тесемки, которые Руперто всегда носил с собой, как и множество других вещей, не занимавших, казалось, никакого места в его котомке, но при надобности всегда оказывавшихся под рукой. Змеи ярара никогда не переползут через эти тесемки. «А вот чтобы отпугнуть ягуаров,— говорил Руперто,— надо взять четыре тлеющих головешки, положить крестом на землю, помочиться на них и затем бросить на четыре стороны: к югу, северу, востоку и западу». Но Рамон уже спал. К тому же главный урок он давно усвоил и прекрасно знал, что надо принимать все меры предосторожности — и от змей и от людей.

---

[1] Бомбижа, или бомбилья — трубочка, обычно металлическая, через которую пьют отвар йербы.

[2] Помберо — леший, домовой.

В ЗАПАДНЕ

Мексу. Нагая фигура, образ беды.
Усталое тело в судорожной пляске.
Стопы и нот. Еще юноша ты,
но сельва дала тебе облик старца.

Хуан Е. Акунья

Тридцать миль вдоль, тридцать — поперек. В таких лесных угодьях, принадлежащих одному хозяину, притаились батрацкие поселки — по сотне работников в каждом. До рассвета покидают мексу свои тростниковые лачуги и направляются в озлобленную, ощетинившуюся колючками сельву. По узким тропкам идут они к деревьям йербы, которые будто для того и тянутся ввысь, укрываются в зелени, чтобы избежать судьбы, уготованной им смуглыми, изможденными людьми. А эти люди жестоко расправляются с ними. Иногда срубают под корень, но чаще безжалостно отсекают ветви, срывая крону, оставляя жалкие, голые стволы с торчащими в стороны культями-обрубками. Но проходят месяцы, и природа вновь вливает в них жизнь, деревья снова зеленеют и в октябре-ноябре опять начинают расти, стремиться вверх, к солнцу. Люди же, напротив, все более и более хиреют, становясь стариками в свои молодые годы: их надежды, обрубленные жизнью, не дают свежих ростков. Поистине драматическая символичность: поражение человека и победа природы, тысячи раз калечимой и тысячи раз оживающей, ликующей, неодолимой...

27

Нежные чуткие уши, покрытые легким белесым пушком, тотчас уловили шум. Ушки быстро и тревожно задвигались и снова замерли, но в больших живых глазах отразился страх, пепельно-серая грудь затрепетала, тонкие ножки задрожали. Стоя около дерева мармелеро, которое медленно задыхалось в петлях ненасытных лиан, олененок, казалось, готов был прыгнуть на небо, чтобы скрыться там среди звезд, уже меркнувших на рассвете. Приближавшийся к нему по тропке шум нарастал, дробясь на отдельные звуки, которые улавливал чуткий слух животного. Вот уже стали различаться шаги в треске ломавшихся ветвей и в

шорохе сухих листьев. Замерший на месте оленепок вытянул вперед острую мордочку, не сводя с тропки любопытных глаз. Вскоре показалось сомбреро с широкими обтрепанными полями, а за ним — выцветший розовый берет. Люди шли, опустив голову, а когда подняли глаза, едва успели заметить там, где тропа сворачивала к реке, коричневый зад олепя, исчезавшего в зарослях. Они бросились было ему вслед, но поняли, что все равно не догнать. Кинтана, обернувшись к остальным, сказал:

— Упустили оленепка!..

— Эх, irú [1],— заворчал Бритос,— как же ты его упустил? Неплохо бы мясца попробовать...

Все засмеялись.

— Ну конечно. Тебе только и осталось — оленя пробовать...— ответил Кинтана, взгляпув на него через плечо, и презрительно добавил, растягивая слово: — Caŕú... [2]

Женщины и мужчины снова рассмеялись. Бритос вскипел и кинулся к обидчику:

— Повтори-ка, если ты...

Ссоры были делом обычным и вспыхивали по любому поводу. Вся та холодная ярость, которая копилась во время долгих дней работы и коротких ночей отдыха, все то ожесточение, которое вызывалось постоянными лишениями и незаслуженными обидами, вся та злоба, которая день ото дня росла в сердцах менсу против хозяев, внезапно прорывались и находили выход в свирепых и жестоких стычках против своих же друзей и братьев, иной раз против того, с кем спишь бок о бок, с кем годами рука об руку бродишь по дорогам зеленого ада. Но сдерживаться не было сил. Ослепленные исподволь зревшим гневом, они срывали его на мнимом враге, которого, казалось, вдруг находили в своем же товарище, в женщине, даже в ребенке.

— Ndé saiyú! [3]

Оскорбленный Бритос, побледнев, отскочил на шаг, в руке сверкнул нож. Пальцы Кинтаны тоже сжали костяную ручку ножа. Остальные подались в сторону, противники сближались, обменивались угрозами.

---

[1] Мой друг *(гуарани)*.
[2] Обжора... *(гуарани.)*
[3] Желтая дрянь! *(гуарани.)*

— На куски изрежу!..
— Ты? Меня?
— Получай!
— И ты тоже, да еще совет...

Как только ветки захрустели под ногами, голоса бойцов умолкли. Тропка была узкой, и зрителям пришлось отойти в кусты. Мужчины и мальчишки смотрели на драку, сверкая глазами; женщины, стоявшие за ними, сжимали в волнении и тревоге руки. Уже совсем рассвело, и слабый луч солнца упал на пончо Киптаны, медленно отступавшего. Он нанес Бритосу удар в руку, но, хотя кровь и сочилась, это была пустяковая царапина, лишь еще больше разъярившая Бритоса, который в пылу отваги стал теснить своего сильного противника, загоняя его в кусты крапивы. Оба шумно дышали, устав от частых выпадов. Растоптанные стебли источали терпкий аромат.

— Что тут такое? — вдруг прогремел рядом властный окрик.

Увлеченные схваткой люди не заметили появления Фалейро с двумя капатасами. Его злобный взгляд не предвещал ничего хорошего, а оба охранника бросились к дуэлянтам, отобрали у них ножи и в миг скрутили веревкой, которую всегда носили за поясом.

— Я вам покажу как драться, бездельники, сволочи!

Провинившиеся молчали, еще не придя в себя после стычки. Остальные понурились, предчувствуя расправу.

— Дай мне плетку!

Слышно было, как похрустывает зелень под ногами охранников. Люди замерли в напряженном, тоскливом ожидании. Капатас поднял руку, показавшуюся пеонам до смешного светлой, ибо она сплошь заросла белыми волосками, которые курчавились и под мышкой.

— Ну, вы! Живо на работу! Веди их! — обернулся Фалейро к своему помощнику.

Пеоны не двигались. Какой-то момент казалось, что они не подчинятся приказу. Но вот они зашевелились, будто даже вздохнув с облегчением, что надо куда-то идти, что можно скрыться от этого рыжего верзилы, от этих холодных, злых глаз, что можно опять говорить, браниться друг с другом, чувствовать себя живым и невредимым. Мужчины, словно в каком-то смущении, подобрали свои мачете и мешки и снова двинулись в путь. Шествие замыкал

«пес» Ортигоса, подгонявший их. Не успели они сделать и десяти шагов, как услышали хорошо знакомые звуки, заставившие всех содрогнуться. Звуки, которые ни с чем не спутать — свист хлыста и глухой удар по живому человеческому телу.

— Раз...

Перед глазами так и взвивалась короткая жесткая плетка из кожи тапира, опускающаяся на вздрагивающую спину.

— Два...

— Иди, не останавливайся! — прикрикнул на них Ортигоса.

Кого первым секут, Кинтану или Бритоса?

— Три...

Как, наверное, горят глаза мулата Бритоса, кусающего от боли и от ярости эту красную землю!

— Четыре...

Люди ушли далеко. Впереди маячили горделивые кроны дикого йербаля. Позади остались палачи и их жертвы. Не слышались уже ни удары, ни монотонный счет. Но в ушах доньи Исидоры и Перальты, Лопеса и Франсиско, Паулины и детей все еще звучал сухой голос:

— Десять... Тридцать... Сорок!..

Не стоит затыкать уши. Напрасно думать о чем-то другом, смотреть на густую зелень, на капельки росы, тающие под солнечными лучами. Всюду так и видятся два распростертых на земле тела, на спинах которых плетка рисует нестирающиеся узоры.

Разгоралось утро, вспархивали потревоженные птицы, стонали раненые деревья, разбухали от листьев йербы брезентовые тюки. Еще один день, однообразный и грустный, проведенный в сельве. Вечером каждый взваливал на плечи свой тюк, тащил к приемному пункту, получал квитанцию, где значился вес сданной йербы, и молча плелся прочь. Люди имели наконец право отдаться сну, целиком и полностью. Но всего лишь на несколько часов, очень коротких. Когда неумолимые звезды начинали блекнуть и исчезать, менсу, их жены, дети снова были на ногах, невыспавшиеся, разбитые. Новый, занимавшийся день не обещал им ничего, кроме работы и горя; не приносил им ничего такого, чего бы не пришлось уже испытать на собственной шкуре. И так — месяц за месяцем. Год за годом. Всю жизнь.

ЗАВОЕВАНИЕ

Эта частная экспедиция отправилась на поиски йербы с берегов реки Игуасу в направлении бразильского поселка Палмас-Новас. По ее следам была проложена большая дорога Ипрай-Гуасу совместно с аргентинскими и бразильскими промышленниками-йербатеро. Однако бразильские власти опротестовали права аргентинцев, предъявили претензии губернатору штата, и этот спор долгое время не сходил со страниц газет...

Из газетной хроники

Говорят, что Парана разделяет три страны[1]. *В действительности же эта водная артерия не только их соединяет, но и образует вокруг себя некую другую, четвертую, диковинную страну. Страну особую, со своими законами, утверждающими беззаконие; со своей особой природой и особенными людьми. Нет, там впереди не Парагвай. Нет, не Бразилия там, где великая река сливается с изумрудной Игуасу. Эта страна включает в себя части трех государств, но не принадлежит никому. Это огромная, мощная, дикая земля. Это — родина йербы-мате. Это — Альто-Парана.*

Огромный параллелограмм включает в себя леса и речки, болота и поселки; разрезается веселыми плодородными долинами, водопадами, скалами; топорщится деревьями, деревьями, деревьями; пестрит невиданными яркими плодами, цепко держит в своих границах тысячи иссушенных солнцем людей и невиданных диких животных. С севера на юг рассекает этот край и господствует над этим континентом йербы его единственный подлинный властелин — «Великий несущий путь», река Парана. Верхняя, узкая часть параллелограмма занимает весь север дремотного Парагвая и территорию Мисьонес — колыбель тысячи ручьев. Его широкая часть простирается от Рио-Гранде, что несет свои воды в Атлантический океан, до Куритибы в бразильском штате Парана. Это — огромное, необозримое царство, где солнце равно одаряет теплом и светом и великолепную природу, и нищих, изможденных людей.

В этом царстве-государстве свой язык: не гуарани, не испанский и не португальский, а причудливая, варварская смесь их всех. Бывает, что в соседних хозяйствах говорят на каком-нибудь одном из трех этих языков. Неред-

[1] Имеются в виду Аргентина, Бразилия и Парагвай.

ко случается, что в аргентинской провинции Мисьонес объясняются по-португальски, а в бразильских — Санта-Катарина или Рио-Гранде-до-Сул — есть йербали, где господствует испанский. Смешение языков и национальностей вовлекло в свой круговорот и хозяев и батраков. Богач парагваец Барт владеет огромными хозяйствами в Мисьонесе. Здесь же, на аргентинских землях, раскинулись владения его земляка, парагвайца Матиауды, бразильца Мартоса, уругвайца Пасторисы. Напротив аргентинец Альика прибрал к рукам леса на бразильском берегу, где обосновались и многие другие хозяева, занесенные туда неизвестно какими ветрами, бросившие свои родные края. Да кто тут вообще вспоминает о родине? Вот она, ваша новая родина, одна страна для всех, одна для всех земля — огромный параллелограмм в пять тысяч квадратных лиг, родина йербы-мате, Альто-Парана.

28

Мачете молнией рассек мягкую древесину. Ветвь скрипнула, горестно колыхнула листьями и рухнула на землю прежде, чем второй удар обрушился на следующую ветвь, повыше. Чистый звон стали слышался то там, то здесь, слева, справа, поднимался вверх, а вниз летели сочные ветки и молодые ростки, отсеченные безжалостным мачете, после буйства которого оставался голый, изуродованный ствол с жалкими, торчащими обрубками вместо кроны. Когда с листвою было покончено, Рамон соскользнул по белесому стволу вниз. На земле громоздилась тяжко доставшаяся добыча. Он сгреб листву в один большой ворох и быстро вскарабкался на другое дерево. Над ним тучей вились москиты, проникали под одежду, облепляли темные руки. Но больше всего беспокоил проклятый ура [1]. Рамону уже давно было не по себе, нестерпимо чесалась грудь; казалось, зудели плечи, спина, живот. Наконец он не вытерпел и положил на сук свой мачете, который, однако, бросив несколько солнечных зайчиков, соскользнул вниз. Прислонившись спиной к двум толстым ветвям, Рамон нащупал на своей волосатой груди место, куда проник червячок. Нажимая пальцами на опухоль, стараясь не обращать внимания на боль, стал выдавливать длинного липкого паразита. С отвращением рассматривая его, Рамон вдруг услышал грубый окрик:

[1] У р а — паразит-червячок, проникающий под кожу людей и животных и откладывающий там яички.

— Эй ты! Так работаешь, подлец?

Рамон посмотрел сквозь ветви вниз. Там стоял, зло тараща глаза, подрядчик с плеткой в руке и револьвером за поясом. Он поднял с земли мачете и, глядя вверх, не переставал орать:

— Ты что, дрыхнешь, бездельник? Я тебе покажу!

Удивительное дело. Трудился Рамон не щадя сил; очищал одно дерево за другим, обрубал сотни веток, собирал груды пахучих, жестких листьев. Но едва только останавливался на минуту — дон Амаро был тут как тут. «Если бы сейчас,— подумалось вдруг Рамону,— свалиться прямо на голову подрядчику, то ни плетка, ни револьверы не спасут». Вот так менсу прикончили одного капатаса, рассказывали люди. Но Рамон уже умел обуздывать себя, скрывать под личиной кротости порывы гнева. Все в жизни требует выдержки и терпения. Семена растений долго лежат во тьме, прежде чем робко проклюнутся из них первые ростки и наконец гордыми зелеными плюмажами украсят землю; личинки не сразу превращаются в пчел и муравьев и не спешат раньше времени приниматься за труд. Менсу познавал мудрую уверенность природы в том, что всему свое время. Он учился ждать. Когда кровь ударяла в голову, а сердце колотилось как сумасшедшее, Рамон теперь умел сказать себе: «Погоди, еще рано». Из этих «погоди» вызревал его бунт. Еще не время мстить, еще не время отвечать ударом на удар, еще не время убить или умереть. Еще рано.

Его самого удивило спокойствие, с каким он выслушал брань. Рамон выглядел таким покорным, что у дона Амаро даже рука не потянулась к плетке. Вскоре тот ушел, а Рамон снова набросился на йербу. И в сражениях с деревьями можно учиться бить врагов. Из грабителя сельвы вырастал, медленно и упорно, будущий бунтарь. Когда-нибудь его мачете поработает на другой сафре: полетят головы, зальет землю кровь хозяев и капатасов. Теперь он был в этом уверен, и уверенность придавала ему силы, помогала стерпеть любое унижение, вынести самую страшную пытку. Он был готов выдержать все ради сафры мщения. Но пока еще рано.

Одинокими волнами докатывались до него вопли товарищей. Рамон отвечал громким, до хрипоты, криком. Он не знал точно, где они находятся. Может быть, и недалеко, вон в той чащобе, в нескольких сотнях метров. Но даже с этого высокого дерева не мог никого разглядеть за густы-

ми кронами, окружавшими людей плотной зеленой завесой. Однако несмолкающие крики, которые птицами прыгали с густой марии-преты на приземистый анчикильо, оттуда вниз, на красную землю, почти сплошь покрытую стелющимися растениями, ветками, сухим тростником и листьями, снова взмывали на дерево и наконец добирались до слуха менсу, создавали впечатление, что люди недалеко. Иногда Рамону казалось, что он видит негра Сильвано, мускулистого и большого, с недоразвитым мозгом ребенка. Другой раз ему чудилось, что совсем рядом с ним Перейра, больной лихорадкой, по кличке Худоба. Виделись ему и все остальные, отсекающие ветвь за ветвью в этой безумной сече, в кошмарной круговерти мачете и монотонном стуке. Несмолкаемая перекличка голосов не оставляла места для чувства одиночества. Эхо, особенно гулкое под зелеными сводами листвы, несло с собой живое дыхание каждого из них, усиливало голоса, будто люди старались находить силы в своем несчастье, утешать друг друга и делиться силами, чтобы не сдаваться в этом сражении с йербой и в битве за жизнь. Даже в моменты затишья эхо не умирало и доносило тихое «чик-чик» какого-нибудь мачете или топорика «Лабрадор». Порой, когда силы были уже на исходе, когда жара и усталость свинцовой тяжестью наваливались на плечи и спину менсу, им казалось, что эти тихие, но как будто очень близкие звуки «чик-чик-чик-чик» были единственными узами, связывающими их с жизнью. «Чик-чик, чик-чик». И вдруг теряется всякое представление об окружающем, и человек чувствует одну только страшную усталость, которая разливается болью по телу, и перестает понимать, стучит ли это «чик-чик» мачете товарища, долетает ли жалоба изувеченного дерева или едва бьется, замирает собственное сердце. Но надо снова браться за работу. Надо снова вонзить острый клинок в белесую ветвь — «чик-чик», надо напрячь последние силы — «чик-чик», до потери сознания, до тех пор, пока не превратишься в жалкий обрубок вместо пышного дерева, как эта йерба. «Чик-чик», «чик-чик» до самой смерти.

29

Менсу пришли в эту йербовую рощу, одну из многих открытых монтарасом Руперто и Рамоном несколько дней назад, и немедля приступили к работе под надзором злоб-

ного дона Амаро. Даже если его не было рядом, даже если он отлучался, они не переставали чувствовать на себе всепроникающий взгляд его выпученных глаз, сверлящих спины, руки, затылки. И менсу, как от укола, невольно оглядывались назад. Из рта дона Амаро, из этой темной, вонючей дыры с тремя торчащими зубами, всегда вылетали одни и те же слова:

— Быстрей, сволочь! Не задерживайся! Ñeiqué! [1]

Рассвирепев, он разражался бранью и угрозами. И спины менсу снова сгибались, а руки сильнее — от ярости — сжимали мачете. В эту минуту они клялись себе как можно скорее рассчитаться с хозяином, вырваться из этой проклятой тюрьмы, уехать в Посадас и больше никогда не возвращаться ни сюда, ни в другие порты Альто-Параны. Но бедняги менсу, отупевшие от скотской жизни в сельве, с трудом представляли себе свою будущую жизнь. Что им делать дальше? В Посадасе нет работы. В Энкарнасьоне — тоже. В городах не осядешь. Что же остается? Гасли искры надежды, и пеон впадал в еще большее отчаяние, еще острее чувствовал свою беспомощность. Руки сами собой опускались, мачете на какую-то минуту замирал, взгляд терялся в темно-зеленой гуще. И тут же слышался ненавистный, лающий голос надсмотрщика:

— Быстрей, сволочь! Не задерживайся! Ñeiqué!

И опять с высоты деревьев летело приглушенное «чик-чик» или монотонное, въедливое «чак-чак!»,— это стучали топорики «Лабрадор», которыми вместо мачете работали некоторые менсу, чтобы ловче расправляться с большими ветками. Снова полнился лес перестуком менсу, усталостью менсу, потом менсу. И так долгие часы подряд. Уже к горизонту клонилось солнце, с трудом пробивавшее завесы листьев, стены стволов. Оно исправно несло свою вахту на небе, почти незримом в сельве, и теперь тихо ложилось отдохнуть за краем земли. А менсу — негр Сильвано, несчастный, высохший Худоба Перейра, которого неумолимо съедала лихорадка, парнишка Селестино, Рамон, старик Сиксто,— кто-нибудь из них, а может быть, и все вместе, наверху, прижавшись к стволам, словно к женщинам — далеким женщинам, о которых по ночам мечтали и Сильвано, и Перейра, и Рамон, и парнишка,— рубили и рубили тяжелые ветки, с шумом и шелестом падавшие на землю. Останавливались только затем, чтобы стереть пот, который

[1] Быстрее! *(гуарани.)*

заливал глаза, градом катился по смуглому телу. Останавливались на секунду и вытирали шею и лицо рубахой или широким, грязным, мокрым платком. И опять грубая рукоятка мачете ощущала грубую ласку влажной человеческой ладони. И снова непрерывные удары тревожили тукапов, вспугивали дроздов и отгоняли болтливых сорок. Но неотвязные мысли продолжали сверлить голову менсу, особенно в тот час, когда сумерки сгущались и люди, словно большие армадилы [1], съеживались под тяжестью тьмы, а сельва, казалось, разливала из океана своего величавого безмолвия нежную всеобъемлющую меланхолию.

— Эх, найти бы хозяина хоть малость подобрее, потише там, в низовьях реки, вот было бы здорово! И заработать бы толику песо, набить бы деньгами пояс да погулять, покрасоваться в нарядной одежде!.. Занять бы подругу, красотку в яркой юбке, с большим золоченым гребнем в волосах... Вернешься в ранчо, а она уже ждет тебя — пышная, горячая, поначалу неуступчивая! А потом...

— Neiqué, aná membuy! Эй, о чем там размечтался, подлец желтомордый!..

Очнувшись будто ото сна, вернувшись к действительности на самом интересном месте, менсу озирался, ища внизу знакомую ненавистную фигуру. Но там никого не было. Напрасно он всматривался в темноту. Его пугало собственное воображение или привычка в любой момент услышать секущий, как плетка, голос врага. На сей раз врага не было, но был страх, который капатасы и подрядчики умеют внушить, вселить в сердце. Пеон превращается в жалкое, забитое существо, которое не осмеливается бунтовать даже в мыслях и прячет злость в самой глубине души из боязни, что ее почуют те, кто все знает. Пеон становится молчаливым человеком, который лебезит перед начальством, чтобы скрыть свои истинные помыслы. Вечно робкий смиренный вид, вечно потупленные глаза. Если он осмелится поднять голову и посмотреть в лицо врагу, он способен убить. Власть имущие приучили пеона глотать обиды. Так пусть же будут готовы съесть тот горький плод, который однажды он им швырнет в лицо.

---

[1] Армадил, или броненосец — южноамериканское животное с панцирем на спине, до метра в длину.

30

Рамона позвали обедать, но он не сразу услышал. Наконец, рубанув в последний раз по ветке, слез с дерева и потянулся — от усталости онемели плечи, свело икры ног. Затем медленно побрел к ранчо на лесной опушке. Там уже собрались менсу. Негр Сильвано, согнувшись, прислонился к дереву инсиенсо, и потому казался не таким огромным. Он молчал и, как всегда, чему-то улыбался. Остальные, растянувшись на жестком ложе из срубленных ветвей и подперев голову руками, что-то вяло пожевывали, смотрели в огонь, или, перевернувшись на спину, глядели наверх, на листву. Над костром, в котелке, подвешенном к треножнику, варилась похлебка из солонины. Из мешка вынули черствые маниоковые лепешки. Такие жесткие, что Рамон долго перекатывал кусочки во рту прежде, чем начать молоть их зубами. Люди придвинулись ближе к огню и стали черпать из котелка большими ложками, в которых каждый раз оказывалось немного твердого, неразварившегося риса и кукурузных зерен. Ели молча. Сильвано сунул ложку раза два-три в котелок и вернулся на свое место к дереву. Худоба ел жадно, захлебываясь. Рамон тоже был зверски голоден, но горячая бурда не очень лезла в горло, тяжело ложилась на желудок. Молчание не нарушалось. Все слишком устали да к тому же были заняты мыслями о предстоящей работе. Им было велено через два дня покончить с этим йербалем, а необработанных деревьев оставалось еще много. Менсу с неохотой поднимались, оглядываясь на свои топоры и мачете, скользя взглядом по их замаранным зеленью лезвиям.

Словно высказывая вслух общие мысли, кто-то пробурчал:

— Да, надо кончать. Хозяин говорил...

— Легко говорить... Ее там непочатый край. Не выйдет...

— Я быстрее не могу, никак.

— Я тоже...

— А этот еще приходит и орет: «Ñeiqué! Ñeiqué!» Сказать бы ему, чтоб заткнулся. Я ему когда-нибудь...

— Зряшное дело...

— Зряшное,— эхом откликнулся Сильвано.

— Попробуй заикнись подрядчику, чтоб не подгонял. Посмотришь, что будет...

— Накипется, как ярара.

Постояли, подумали, хотя знали, что выхода нет. Старик Сикстo заметил вполголоса:

— Влезаешь да слезаешь, а время идет... Валить деревья, опо, конечно, проще.

Люди встрепенулись, придвинулись ближе. Старик поделился своим соображением. Впрочем, он не придумал ничего нового, об этом не раз говорили бывалые тарефero из Альто-Параны. Нечего жалеть деревья. В общем...

— Они-то не будут ругаться?

— Кто?

— Да опи, подрядчик, капатасы, дон Санта...

Старик их успокоил. Никто не будет ругаться. Какое хозяевам дело до дерева? Ни в этом порту и ни в каком другом, на аргентинском ли берегу Параны, на бразильском или на парагвайском — никто не печалится о судьбе деревьев йербы. Главное — срезать листву, высушить, перевезти да выгодно продать. Основное для хозяев — деньги, все равно какие: бразильские, уругвайские или аргентинские. Чего волноваться из-за каких-то тысяч срубленных деревьев? А кроме всего, здешние леса в общем-то ничьи. Завтра кто-нибудь другой получит концессию или правительство надумает повысить налог па йербу — и тогда хозяева совсем бросят это дело. Нет, никто не будет ругаться. Главное — нажиться, и как можно скорее. Поэтому пусть падают белесые красавцы-великаны, чтобы с них срывали ароматную листву с благословения свирепых насильников сельвы. Пусть падают. Никому нет дела до них.

— Так что же? Будем валить?..

— Конечно! Куда легче и быстрее.

Все снова разбрелись по лесу. Снова раздался стук. Но теперь стучали только топоры. «Чак-чак-чак» полностью вытеснил дробный «чик-чик» мачете. Вот уже рухнуло первое стройное дерево, прижавшись своей роскошной кроной к бурой земле, которая до сей поры крепко держала его. И тотчас его четвертовали, изрубили проворные руки мансу. Треск пошел по лесу, сильнее застучали топоры, яростнее засверкали мачете, словно началась война с сельвой не на жизнь, а на смерть. Вдруг за спиной Худобы вырос дон Амаро. Увидев его рожу, пеон сжался, ожидая получить пагоняй за варварскую расправу с деревом. Но тот даже не взглянул на поваленный, искалеченный ствол. Не воспротивился уничтожению йербаля. Только рявкнул:

— Ñeiqué!

ЗАВОЕВАНИЕ

...они пришли в эти края вместе с доном Доминго Бартом и, хотя не разбогатели так, как он, сумели завладеть большими земельными угодьями. Тем, кто пришел позже, досталось вдвое меньше. Самыми именитыми здешними господами и крупными землевладельцами стали Руденсиндо Рока, Эррекаборде, Дарио Кирога...

Кирога покупал и перепродавал нищих девушек в публичные дома, а некоторых своих наложниц привозил в Буэнос-Айрес и дарил влиятельным приятелям, напрашиваясь им в «кумовья». Однако излюбленным его времяпрепровождением была игра в карты. В ту пору, когда он занимал пост местного судьи, особенно расцвела контрабанда. Повозки с иностранными товарами под прикрытием и охраной самих жандармов проезжали чуть ли не по главной площади Посадаса. И продолжалось это...

А. Момбельо
«Ученый судья провинции Мисьонес, или Проделки и подвиги подлеца»

Все хозяева-йербатеро, обосновавшиеся в Такуру-пуку, вынуждены были уйти оттуда и перебраться в Мисьонес и в Бразилию, потому что правительство Парагвая во времена правления президента Баррейро передало все йербали этой области во владение генералу Эскобару, представителю и управляющему фирмы Антонио Уриб е и К° из Буэнос-Айреса. Затем эти йербали перешли к...

Из газетной хроники

Власти не интересуются этой удивительной областью, где произрастает йерба-мате. Альто-Парана и вовсе не интересуется властями. Она желает одного — чтобы ее не трогали. А все эти минейро, фазендейро[1]*, ше-рубиша*[2] *— одним словом, хозяева йербалей — предпочитают, чтобы им не мешали и не лезли в их дела. Существует, понятное дело, налоговая система. Существуют, конечно, губернаторы. Есть даже генеральные комиссары по надзору за йербалями, есть префекты полиции, жандармы и судьи. Но*

[1] Минейро — бразильский горнопромышленник; Фазендейро — плантатор, крупный бразильский помещик. Здесь: владельцы йербалей.

[2] Ше-рубиша — хозяева *(гуарани)*.

это никого не беспокоит. Хозяева просто-напросто заводят в своих бухгалтерских книгах графу «прочие расходы». Иной раз эти расходы превосходят заранее предусмотренные, ибо представителям властей нравится жить на широкую ногу. Но игра стоит свеч. Кроме того, взятки облекаются в форму весьма деликатных услуг и подарков. К примеру, один хозяин йербаля оплачивает всю новую обстановку дома шефа полиции в провинции Мисьонес. Другой возмещает стоимость всех домов, какие заблагорассудится приобрести его превосходительству судье. Владельцы лесоразработок и йербалей раскошеливаются на драгоценности, на женщин, на банкеты и даже на предметы туалета для местных правителей. Однако игра стоит свеч. Никто теперь и не подумает совать нос в дела йербатеро. Ни власти не тревожатся об Альто-Паране, ни Альто-Парана не тревожится о властях.

А жизнь здесь совсем не мирная и не спокойная. Здесь, попросту говоря, сущий ад. Все стараются сбежать отсюда как можно скорее. Крупные йербатеро уходят, как только наживут приличный капитал. Управляющие и служащие — как только накрадут достаточно денег. Менсу — когда заболевают, спасаются от смерти или отправляются в мир иной. Но это бегство — одна иллюзия, если не говорить о смерти. Никто и никогда не может покинуть сельву насовсем. Кто однажды вступил в эти роскошные леса, кто хотя бы один-единственный раз оставил свой след на бурой земле Альто-Параны, отсюда не уйдет. Навсегда останется у нее в плену. Иные хотят обмануть себя и думать, что избежали плена. Они приезжают с полными карманами в Буэнос-Айрес или в Рио-де-Жанейро. Они развлекаются с белокурыми европейками, кутят в ресторанах, покупают яхты и автомашины, играют в рулетку, колесят по всему белу свету и запрещают говорить при них о йербемате. Но Альто-Парана держит, не отпускает их: они в конце концов гибнут от пожирающей их желтой лихорадки, сгнивают от сифилиса, которым заражаются от женщины, ранее изнасилованной капатасом, или — самое страшное — теряют облик человеческий, поддавшись отвратительной, пагубной saudade[1]*, которая навечно овладевает ими, одурманивает, превращает в садистов-охранников или в извергов-работорговцев, до конца жизни рыскающих в портах Альто-Параны. Многих приковывает родина йербы — не*

[1] Тоска *(португ.)*.

только капатасов, вербовщиков и управляющих, но и самих менсу, которых бьют, истязают, убивают. Да, менсу — неотъемлемая часть жизни Альто-Параны, ибо в младенчестве они мочились, плакали и распускали сопли на этой земле, ей же отдавали в юности свой пот, свою кровь и свою силу, а в конечном итоге, когда становятся трупами, рухлядью, выкинутой за борт жизни, и когда из тела уже не выжмешь ни слез, ни пота, ни крови, они отдают сельве последнее, что имеют: свои бедные кости, белеющие на опушках лесной глухомани или тлеющие в плодородном иле на дне Великой реки.

Нет, никому не оторваться от родины йербы. И нечего думать об этом. Нечего. Нечего думать.

31

Амелия ощущала, как шевелится в ее чреве ребенок. Он так скоро заявил о себе! Она едва успела забыть о бедняге Галарсе, а сынок уже подал признаки жизни. Своими мягкими темными ручонками он стучался в нее, напрасно торопясь попасть в этот мир, где его не ждало ничего хорошего. Амелия была уныла и подавлена, словно в предчувствии несчастья. Конечно, лучше, если бы мальчик не родился, не узнал бы ни голода, ни горя. Она желала этого. Но травы доньи Луисы не помогли. Меры приняты слишком поздно. И теперь Амелия ощущала, как он шевелится, безжалостно отнимает у нее последние силы. И сама старалась отдать ему, ненасытному и требовательному, все, что добывала для себя. Но зачем? Чтобы в этом поселке появился еще один тощий, всегда больной малыш, жалкое подобие родителей? Ей хотелось обеими руками сжать живот, чуть ли не превосходивший размерами ее самое, и раздавить это маленькое, настырное существо. Но у нее не хватало сил ни на это, ни на что-либо иное. Она могла только жить и ждать сына, как ждут неумолимо надвигающуюся беду.

Возможно, эти невеселые думы ей навевали тихие сумерки, хмурое, заволоченное небо, одиночество. Амелия вышла из дому. Возле лачужки несколько банановых кустов и маниока простирали к черным тучам желто-зеленые листья. Она шла, глядя вниз, на красную землю, и вдруг увидала змею ярара. Хотя хвост скрывался в зарослях, можно было заметить, что змея длинная, толстая, как ветка

лапачо. Их разделял один шаг. Амелия хорошо видела, как плавно изгибается украшенная темными треугольниками спина, как поблескивает светлое брюшко. Когда змея вдруг исчезла в кустах, она опомнилась и удивилась, что ядовитая тварь не кинулась на нее. Значит, будет мальчик! Обязательно мальчик, согласно поверью, распространенному по всей Альто-Паране. Но примета ее не взволновала. Если бы не эти робкие толчки ребенка в чреве, она вообще не чувствовала бы, что живет, существует.

Амелия добрела до посадок маниока и принялась было выпалывать сорняки. Но, нагнувшись, ощутила острую боль в животе и упала на спину. Сразу пришла мысль, что придется родить здесь, одной — уже не успеть предупредить Исидору,— на этой красной земле, которая жаждала воды, под этим темным необъятным небом, в которое устремились теперь глаза женщины.

Так лежала она, раскинувшись, глядя в небо. Точь-в-точь как тогда. Когда же? В памяти быстро мелькали картины прошлого, и вот одна представилась ясно, четко, будто все это произошло вчера. Ей было лет двенадцать, не больше. Она жила в Энкарнасьоне с матерью, большой жилистой женщиной, которая весь день стирала чужое белье да прислуживала в богатых домах. У матери был муж — кажется, второй или третий,— здоровый желтолицый парень, большой любитель играть на гитаре. Все ночи напролет он проводил на танцплощадках и гуляпках, а днем валялся на кровати, посасывая мате, который ему подносила мать или кто-нибудь из детей. Работать Хасинто не любил и никогда не приносил домой ни денег, ни еды. Зато поножовщик был известный и нередко заявлялся, истекая кровью. Но раны быстро заживали — мать лечила его травяными отварами, а сам он часами лежал на солнце. Они часто ссорились, но, несмотря ни на что, мать любила Хасинто и не жалела для него жизни, хотя знала про его шашни со всеми женщинами городка. Кроме того, из полдюжины ее детей двое были от него. День-деньской грязные, сопливые ребятишки ревели, дрались и, не переставая, просили есть, потому что еды никогда не хватало. У Амелии были две косы по пояс да красное выцветшее платьице. Едва намечавшиеся остренькие груди предвещали скорый расцвет юности. Но она еще не думала об этом. Целый день помогала матери. Часами торчала у реки, стоя в воде и стирая грязную, заношенную одежду. Однажды не выдержала и спросила мать:

— Почему мы должны стирать эту гадость?

Мать вдруг ласково погладила ее по голове большой мозолистой рукой и сказала на ухо нечто странное:

— Потерпи... Это скоро кончится. Мы обязательно найдем клад. Я видела чудесные приметы, и с божьей помощью клад достанется нам. Если это и вправду доброе предзнаменование, мы отыщем местечко. Подожди немного...

С этой поры мать часто говорила дочери о каких-то своих видениях. Она всегда была трезво мыслящей женщиной, но тут словно обезумела, поверив в одну из многочисленных сказок о спрятанных неисчислимых сокровищах. Уверяла, что возле часовни, у полуразрушенной кирпичной стены, видела однажды ночью какие-то странные огоньки и слышала свист и стоны. По ее убеждению, надо было копать у этой стены или разбирать кирпичи...

— ...и тогда увидишь, как мы заживем...

Мать так увлеклась своими фантазиями, что даже не замечала, какой опасности подвергается дочь. Хасинто использовал каждый удобный случай, дома или во дворе, чтобы ущипнуть или облапить Амелию. Девочка вырывалась, испуганная, до глубины души оскорбленная его грубыми ласками. Но однажды ночью случилось то, что она инстинктивно предчувствовала. Она вытащила свою койку наружу из ранчо, потому что задыхалась в жаркой комнатушке. Было приятно лежать на свежем воздухе и смотреть в темно-синее небо, на душе стало хорошо и радостно. Хасинто возвратился, как всегда, поздно, навеселе, но не пьяный. Заметил ее и улегся с ней рядом, что-то тихо и смущенно бормоча, неуклюже лаская. Мать, намучившись за день, спала крепким сном. И Амелия, пережив глубокую и горькую обиду, вытерпев мучительную боль, была приобщена своим отчимом к таинству любви.

Потом мать все видела, но не обращала на это почти никакого внимания. По утрам, когда Хасинто приходил в себя после очередной пьянки, он обычно звал Амелию. Если отказаться, на нее обрушатся побои и ругань, а матери, которая думала только о кладе, тоже сильно достанется. И она уступала. Уступала и позже, в течение многих лет всем, кто бы ни проходил через ее жизнь и чего бы от нее ни требовал.

Амелия попыталась встать, но сильная, острая боль внизу живота снова ее свалила. Спина словно прилипла к земле, бурой, сухой, жаждущей воды. Вверху, по веткам

сосны, прыгал вертлявый коати́ [1]. Она рассеянно следила за его прыжками, думая о своем муже. В самом деле, ей нельзя было пожаловаться на судьбу. С ним она нашла дом, смогла забыть о прошлом. Правда, Рамон был молчалив, угрюм, словно его точила какая-то забота. Но он никогда не бил ее, как, например, мужья Чолы или Николасы, которые дубасили жен кольями. И не напивался даже по субботам, когда мужчины пили в долг у хозяйского дома и, вдребезги пьяные, валялись на земле, не будучи в силах да и не желая встать, довольные тем, что кислое вино или разбавленная водка помогли им забыть ад, в который надо возвращаться на следующий день.

Амелия снова напрягла все силы, и на сей раз ей удалось сесть. Ребенок буйствовал в ней, жил уже своей, почти независимой от нее жизнью. Ему оставалось немного, чтобы оказаться в этом страшном мире, который неизвестно как расправится с ним. Амелии показалось, что небо опустилось ниже, накинуло на нее влажное покрывало. Зачастил дождик, стал покалывать землю тонкими, прохладными иголками. По тропке будто идет Рамон; в левой руке у него прут, которым он похлестывает по кустам, а в опущенной правой — мачете. Рамон все увеличивается, растет, и вот его огромная фигура заслоняет собой небо, становится больше, чем небо, которое теперь ронял на землю крупные, холодные слезы.

Открыв глаза, Амелия в самом деле увидела возле себя, над собою Рамона. Он взял ее на руки, отнес в ранчо и положил на кровать, которую сам смастерил, натянув шкуру на деревянный остов. В его взоре светилась тревога.

— Что с тобой, che cambamí? [2] — с трудом выдавил он из себя, растерянно глядя на муки женщины, которые не в силах был облегчить.

Она собралась с силами и ответила, стараясь его успокоить:

— Ничего, обойдется...

— Что делать-то?

— Вскипяти воды, завари шалфей, а потом сходи за Луисой и за Исидорой.

Он долго возился у очага,— дрова отсырели, да и руки почему-то плохо подчинялись. Язычки пламени весело заплясали наперекор дождю, ливнему как из ведра, но теплее не стало. Амелия чувствовала, как ее пробирает холод,

[1] К о а т и — латиноамериканское животное, похожее на куницу.

[2] Моя черненькая *(гуарани)*.

леденит ветер, задувающий в щели пальмовой кровли, в углы. Рамон набросил на нее всю одежду, какая у них была. Но одежды-то было немного. И женщина дрожала как в ознобе, напрасно пыталась тереть ноги об ноги — только стукались колени; ныли озябшие руки. Лишь живот, этот большой шар, который словно бы жил уже сам по себе, сохранял удивительное тепло.

— Как же я тебя оставлю одну?

— Иди, иди. Ничего со мной не случится...

На мгновение глаза их встретились: потемневшие, тревожные глаза Рамона и робкие глаза Амелии, которая старалась казаться спокойной, до боли закусив губы и вонзив под ворохом одежды ногти в бедра. Но ее страдание выдавали напряженное, обострившееся лицо, туманившийся взор, стиснутые зубы, словно прикусившие стон, чтобы он не достиг слуха мужа. В волнении Рамон повернулся, сшиб на ходу скамейку, наткнулся на столб, подпирающий крышу, и рванулся наружу, под дождь. Только тогда покатились слезы по худому, перекошенному в муках лицу Амелии, которая повторяла, будто заклиная адскую боль, пронзавшую нутро:

— Ничего со мной не случится, ничего...

32

В кромешной тьме, под ливнем Рамон добрался наконец до нескольких ранчо, находившихся по ту сторону малого йербаля. К счастью, знахарка оказалась дома. Старуха была добрая, никому не отказывала. Поговорив с ней, он поспешил к Исидоре, а потом, промокший до нитки, направился к зданию администрации. Струи яростного дождя превратили красную пыль на дороге в скользкое месиво. Едва переводя дух, уставший, измученный Рамон постучал в дверь лавки. Пряди мокрых волос помешали сразу разглядеть, кто отозвался на стук. Но хорошо, что кто-то отозвался, сейчас можно будет обогреться и даже просушить одежду, а затем скорее надо идти, отнести Амелии...

— Эй ты! Чего надо, я тебя спрашиваю! — орал кто-то из окна.

— Открой! Дождь больно сильный...— прокричал Рамон, смущенный таким приемом.

— Нельзя. Говори, чего надо.

Рамон, стараясь перекричать шум ливня и ветра, изложил свою просьбу:

— Одеяла нужны... Моя жена рожает... И банку молока, сгущенного, надо,— знахарка велела... А еще...

Но голова человека уже скрылась. Менсу стоял и ждал, похожий на статую под водяным потоком. Порывы ветра рвали рубаху — пончо он оставил дома, ей. В окне снова появилась тень, и Рамон подумал, что сейчас откроют дверь. Однако не тут-то было.

— Сегодня не отпускаем... По четвергам...

— Я тебя прошу...— взмолился Рамон.

— Сказано — нет. Дон Санта говорит: ты и так много задолжал, да к тому же смуты затеваешь...

У Рамона екнуло сердце, он было вскипел, но сдержался.

— Пойди скажи хозяину, что я его прошу... Бедная женщина очень мучается, я за все заплачу, за все...

— Сегодня не отпускаем,— словно не слыша, повторил человек за окном.

Не помня себя от отчаяния, Рамон сжал кулаки и со стоном кинулся к крепко запертой двери.

Но все напрасно. Окно закрылось, и в ответ лишь глухо и часто охала дверь, по которой он неистово барабанил. Разбив в кровь руки, он стал колотить по доскам ногами. Дождь хлестал с прежней силой. Рамон не помнил, сколько времени он буйствовал, но вскоре с досадой стал замечать, что, чем дольше бьется об эту проклятую дверь, чем больнее рукам и ногам, тем слабее становятся удары, словно вместе с тревогой, яростью и страхом за жену, постепенно угасавшими в душе, лишалось сил и его тело. Вконец ослабев, он навалился грудью, как пьяный, на эту дверь, которую только что колотил. И не заметил, как она приоткрылась, и трое мужчин втащили его внутрь. Из другой комнаты донесся властный голос Санта Круса:

— Исполосуйте его да вышвырните вон. Они слов не понимают!

Рамона бросили на утоптанный сухой пол. Упав лицом вниз, он успел ощутить, как с мокрых волос на щеки потекла вода.

— Хороший урок! Запомнит надолго...— несся откуда-то голос хозяина.

Но Рамону было уже все равно, обессиленный лежал он у ног врагов. С него сорвали рубаху. Голос хозяина умолк. Дождь продолжал лить, капли глухо выбивали чечетку на крыше. Плетка, словно соревнуясь с ними, со свистом плясала по мокрой спине менсу.

В ЗАПАДНЕ

Кричи, стони, зови «ау», зловещая урутау,
и славь свои дикие края в зеленой кроне ятая...[1]

Недалеко от того места, где небольшая речка впадает в Парану, на воде вдруг показался утопленник. Он плывет, окруженный листьями, ветками и сгнившим тростником. Речушка называется Мондай. «Река-воровка» — говорят про нее люди. Но на сей раз она ничего не смыла и не украла — она принесла. Принесла навеки умолкшего человека, с руками, связанными за спиной, который медленно плывет по течению. Синие, скрученные обрывком лианы исипо руки погружаются в воду, когда лицо человека смотрит в небо, и снова показываются, как доказательство свершенного злодеяния, когда вскипающая на порогах вода перевертывает труп лицом вниз. Он почти гол. Из-под рваных, закатанных выше колен штанов виднеются волосатые ноги, окровавленные и израненные — то ли острой осокой гуэмбé, то ли зубами рыб дорадо. Медно-желтая грудь и живот так вздулись, что кажется: ткни пальцем, и они лопнут. Шея еще повязана красным платком, оттеняющим земли-стую бледность лица, которое полускрыто прямыми черными волосами.

Медленно, неторопливо плывет мертвый человек. Не по своей воле пустился он в плавание, и спешить ему некуда. Течением его относит ближе к парагвайской стороне, и он тихо скользит там вдоль берега. Упавшее в воду дерево останавливает его, но тут же отпускает. Потом за него цепляется мертвый дрозд, и они плывут вместе — мокрый комок перьев и черная, волосатая, безликая голова. Вскоре они расстаются, и человек натыкается на камень, но, видно, решает не задерживаться и, покачиваясь, продолжает путь. Небо внезапно темнеет, начинает лить дождь. Капли мягко, почти нежно падают на тело. Когда дождь перестал, к трупу подлетел любопытный зимородок, но мензу, не останавливаясь, плывет и плывет дальше, теперь вдоль аргентинского берега. Из-за туч выглядывает солнце, и вся эта картина представляется особенно жуткой. Река искрится, играет под яркими солнечными лучами. Труп плывет под ними спокойно и равнодушно. Страшно смотреть на этот поединок между торжествующей смертью и ликую-

[1] Я т а й — вид пальмы.

щей жизнью. Вот труп попадает в заводь и долго, самозабвенно кружится там, словно большой, странный поплавок. Наконец выбирается оттуда и отправляется дальше по течению, не спеша заглядывая в каждый заливчик, задевая за каждый валун, цепляясь за каждый береговой выступ, касаясь густого, зеленого наряда сельвы, который она полощет в речке. Мертвый человек не пропускает ничего, словно прощается с этой землей. Чайки, летающие над водой, видят, как его выносит в Парану и он быстро, быстрее, чем раньше, скользит вниз по течению, вздрагивая на белых гребнях волн, вертясь волчком в воронках вместе со всякой падалью и гнилью. Но тут Парана круто сворачивает в сторону, и чайки теряют его из виду. А труп несется дальше, подставив солнцу скрещенные на спине синие руки, словно угрожая небу окоченевшими кулаками.

33

Рамон не скоро вернулся той ночью к Амелии, но все же добрался благополучно. По пути домой упал лишь раза три-четыре, хотя ночь была темна и тропку можно было разглядеть только при вспышке молний. Несколько раз он сбивался с дороги и плутал в лесу, но всякий раз, повинуясь какой-то неведомой силе и чутью, снова выходил на тропу. Наконец увидел вдалеке слабый свет фонаря на своем ранчо и пошел на него. Женщины остолбенели при виде его, а потом тревожно переглянулись. Не слыша, что ему говорят, Рамон направился прямо к постели роженицы. Амелия, смертельно бледная, с закрытыми глазами, неподвижно лежала на спине. Грудь ее вздымалась, дыхание было частым, хриплым, будто шумел испорченный движок. Взглянув на нее, он понял, что дела плохи.

— Мужайся, Рамон,— сказала Исидора, сжав ему руку.

Рамон не нуждался в утешении. Он был тверд духом, удивительно тверд и хладнокровен. Но его словно тянуло измерить до дна глубину своих страданий. Именно это желание и вывело его к ранчо, несмотря на тьму, на боль в спине и охватившее душу отчаяние. Он хотел убедиться, что хуже быть уже не может. Если бы его не избили зверски и не унизили, он не решился бы вот так, прямо, смотреть большой беде в глаза. Но теперь из прежнего Рамона

вырастал иной человек, решительный, готовый на все, с волей, крепкой как мачете.

— Мертвым родился. Уж очень она слаба. Ничего нельзя было сделать...

Следуя глазами за взглядом знахарки, Рамон увидел на полу маленький сверток. Плотно увернутое в тряпки тельце все же сохраняло свою форму. Рамон содрогнулся, но тут же овладел собой.

— А как она? — спросил он тихо, беря из рук старухи Луисы горячий мате.

Знахарка опустила глаза, словно боясь за что-нибудь поручиться:

— Пока трудно сказать... Если бы мы с самого начала могли кровь остановить. Больно много крови потеряла, бедняжка. Но сейчас я дала ей выпить каньи, настоянной на глине из осиного гнезда. У меня это снадобье всегда под рукой. Ну, кажется, кровь-то и остановилась.

— Святая женщина донья Луиса,— заметила Исидора.

Из глубины ранчо доносилось хриплое дыхание Амелии. Только теперь Рамон почувствовал крепкий, неприятный запах, заполнивший ранчо, и понял, что, если тотчас не выйдет из этой духоты, если не перестанет смотреть на этот маленький сверток, в котором был его сын, первы не выдержат. А дождь все лил и лил, вода струилась по стенам ранчо. Однако Рамон шагнул к двери, откинул дерюгу, прикрывавшую вход, и глубоко вдохнул сырой воздух. Женщины участливо смотрели на него. Они видели в нем лишь жалкого менсу в мокрых, заляпанных красной грязью бомбачах, в рваной рубахе, сквозь которую просвечивала исполосованная спина. Они видели перед собой раздавленного горем человека, который только что потерял сына и с минуты на минуту может потерять жену. И не сводили с него глаз, словно побаивались за него. Они не знали, что он силен и тверд, как никогда, что воля его закалилась в несчастье, ибо он познал наконец самые глубины человеческого горя.

34

Непогода затянулась, и работа в йербовых рощах приостановилась. При таком ветре и ливне невозможно было обчищать деревья. Да и ни мулы, ни быки не могли пройти по размытым тропам. В наскоро построенных из тростника, дерева и глины сараях отсыревала подсушенная йерба. Люди сидели сложа руки или проводили часы в лавке, утешаясь каньей и водкой и увеличивая свой и без того большой долг, который придется покрывать в течение долгих месяцев тяжкого труда. Рамон предпочитал украдкой от капатасов побеседовать с более или менее трезвыми менсу или вообще оставаться дома. Амелия еще не оправилась после болезни и не поднималась с постели. Глаза ее горели нездоровым блеском, волосы как-то сразу засверкались сединой, руки дрожали, а грудь сотрясал долгий надрывный кашель.

Рамон неподвижно, как глиняное изваяние, сидел рядом, переплетя пальцы уроненных на колени рук и уставившись в серую пелену нескончаемого дождя.

В один из таких вечеров неожиданно заявился Адольфо, и отныне в ранчо стало два глиняных изваяния. Братья не виделись несколько месяцев, но говорить было почти не о чем, ибо жизнь их мало разнилась.

— Плохо дело. Ты знаешь, я хвалиться не люблю, но работал я там здорово. Вкалывал с утра до ночи. Думал, за восемь-то месяцев сквитаюсь с хозяином. А как подсчитали заработок да стали вычеты производить — за то, за это...

— Ну, и..?

— Ну и вышло... раз-два и обчелся. А потом еще штрафы, да пять песо за альпаргаты, да двадцать за топор...

Адольфо раскурил самокрутку.

— Выходит, увяз ты по уши...

— Выходит так...

И снова молчание, прерываемое лишь стонами Амелии.

— Что делать будешь? — спросил Рамон.

— Да вот хотят загнать меня с другой партией подальше в сельву... Когда дожди окончатся.

Ливень быстро прокладывал путь тьме, сумерки опускались на землю. Растворялись в мглистой дымке банановые листы, кустики маниока и вся бурая стена сельвы, истекавшая водой, водой, водой.

— А ты?

— Думаю податься отсюда...

— Добром не отпустят. Нет.

— Понятно, не отпустят. Но все равно уйду. Уйду...

Дождь лил упорно, неторопливо, словно бы не собираясь утихнуть до тех пор, пока не зальет всю землю со всеми этими несчастными людьми, их жилищами и изувеченными деревьями. Неторопливо лилась и речь Рамона, посвящавшего брата в свой план побега, который был до мелочей продуман в бессонные, тревожные ночи и в не менее тревожные дни. Он уже знал заранее, что ответит ему старший брат — как тогда в Посадасе:

— Ладно. И я с тобой...

Хриплый кашель Амелии тоже, казалось, поддакивал обоим. Адольфо не спеша вытащил револьвер и принялся его чистить.

35

День клонился к вечеру. Метис Лопес первым подал голос:

— Эй, пора готовить листву для отправки! Скоро стемнеет!

Люди один за другим подходили со своей добычей. Они только что закончили еще одно сражение. Они его выиграли, но выглядели отнюдь не победителями. И не чувствовали ничего, кроме усталости. Вокруг повсюду, куда ни гляпешь, лежали поверженные деревья, павшие от топора в бесславном, ненужном бою. Их загубили только ради листвы. Похожие на больших подбитых птиц с обрубленными крыльями, деревья лежали на огромной просеке, растопырив свои страшные культи, будто возмущаясь варварскими побоищами, уничтожением лесов ради нескольких тысяч тонн листьев йербы. Но люди были глухи к безмолвной, горькой мольбе сельвы. Они спешили приступить к сапекаде, подсушке йербы. Положили рядом два ствола и развели между ними небольшой огонь. Как только тонкие, злобные язычки пламени заплясали на щепках, двое мепсу стали брать подпесенные ветви йербы и одну за другой двигать над огнем по лежащим стволам.

Рамон сел на землю, прислонившись к кряжистому лапачо, и заложил руки за голову. Спросил, ни к кому не обращаясь:

— А где Айяла?.. Куда он делся?

Но Касерес понимал, что вопрос обращен к нему. Он был стар и многое знал о мепсу. Люди переглянулись, а старик Касерес ответил, пожав плечами:

— Сгинул в лесу...

Когда ветви йербы продвигались над костром, листья сухо и коротко потрескивали.

— А Хусто Мирайтес? А Паниагуа? А Худоба?

Это была опасная для разговора тема. Но мепсу уважали Рамона и не осмеливались оборвать его. Правда, ответ был все тот же:

— Сгинули в сельве...

Листва похрустывала, взрывалась треском на ветках, скользивших друг за другом над огнем.

— Кто тебе сказал?

Касерес старался казаться спокойным, но его голос чуть дрогнул от волнения:

— Фалейро сказал, капатас Санта Круса. Недавно. И еще смеялся, паразит...

Мансу покончили с сапекадой и принялись стегать ветвями о землю, чтобы сбить с них листья.

— Бунтовали?

Вопрос какой-то миг парил в воздухе, прежде чем Касерес ответил:

— Нет. Много добра заимели...

Наступило долгое молчание. Лес быстро окутывала тьма. Все листья были наконец сбиты с веток, и тюки с йербой стали грузить на мулов. Тут к Рамону подошел молодой парнишка и забормотал, уставившись на свои обмотанные грязными тряпками ноги:

— Может, не надо говорить... Только ходил я вчера вечером в хозяйскую лавку, хотел раздобыть себе альпаргаты. А там были охранники, говорили с доном Сантой. Они меня не видали и говорили громко. Было их человек восемь, все вооруженные. Притащили с собой узел, а в узле то вещи Айялы. Помнишь, у него была рубаха, на ней его имя вышито. Хорошая такая рубаха...

Вокруг быстро стихли слова, замерли звуки, и тишина словно окутала всех плотным незримым туманом — вытесняя воздух, не давая дышать людям, которые застыли с раскрытыми ртами, как рыбы, выброшенные на песок,— стала такой тягостной, что говорящий запнулся, но, сделав над собой усилие, договорил:

— Ну вот... Эта рубаха там тоже была.

Почти весь обратный путь мансу молчали. Лишь изредка подстегивали мулов, которые с трудом тащили огромные тюки. А путь до приемного пункта, где надо взвешивать йербу, был долог.

— Сволочи... Небось прирезали их, как поросят,— проговорил наконец кто-то.

Рамон выждал, пока успокоится сердце и перестанут мелькать перед глазами красные точки, будто брызги кипящей крови. И только тогда тихо зашелестел его голос среди склонившихся к нему голов. Здесь никто не мог их услышать, но он слишком привык всегда и повсюду быть начеку. Вдали закричал фазан, а сельва рисовала над их головами фантастические узоры на темно-синем небе.

— Araca'ёра? [1] — спросил Касерес как бы от имени остальных.

Рука Рамона поднялась и воткнулась в синюю мглу.

— Ãngã yasî guasú ogũajhëvo... [2]

[1] Когда же? *(гуарани.)*

[2] Когда наступит полнолуние... *(гуарани.)*

ЗАВОЕВАНИЕ

Йерба-мате возбуждает нервы, вливает бодрость... Я имел возможность наблюдать, как вконец уставшие, работавшие до седьмого пота пеоны — валившие топором деревья или перегонявшие скот, верхами или пешие,— выпив мате, будто чудом обретали силы и возвращались к работе...

Амбросетти

И вот уже собраны сотни тонн душистой листвы. А пока эта неоглядная зеленая масса претерпит сушку, резку и помол, новые тонны листьев йербы будут брошены наземь вместе с белоствольными деревьями, которые больше никогда не зашумят своими густыми кронами. И другие смуглые люди где-нибудь в другом конце сельвы будут сгребать огромные ворохи срезанных веток, подсушивать их и стряхивать с них листву, набивая ею огромные тюки, которые затем навьючиваются на мулов. И так день за днем. А потом сухую йербу станут молоть, и вместо тюков с листьями на свет появятся мешки с зеленой трухой, которые взвалят на себя не знающие устали рабы-грузчики. Плотно завязанные кожаные или брезентовые мешки взгромоздятся на повозки, запряженные безответными трудягами-мулами, или попадут в трюмы дымящих чудищ, которые пойдут по «Великому несущему пути» к большим городам. В Посадасе или в каком-нибудь другом промышленном центре йербу ждет новое испытание. Зеленая труха превратится на гигантских мельницах в зеленую пыль, которая, став наконец знаменитой йербой-мате, завоюет Асунсьон, Парану, Буэнос-Айрес, Монтевидео, весь мир. В центре Альто-Параны, на севере Мисьонес грохочут гигантские водопады Игуасу. Огромные лавины воды падают в бездну, одолевают кипящие пеной пороги. Издалека слышен шум яростных вод Игуасу, извергаемых сельвой. И все же, если отойти на два-три десятка километров, уже не расслышать этого рева, который несется будто из какой-то гигантской, вечно разинутой пасти, летит сквозь века. А вот зеленая хрустящая река йербы, рожденная тоже в этих местах, шумит всегда и везде. Она берет еще большие преграды, осиливает еще большие расстояния, приводит в движение тысячи рук, гнет тысячи спин, заставляет служить себе мулов, повозки, грузовики, пароходы, поезда. Волны йербы-мате подчиняют города, пита-

ют мощную промышленность, сказочно обогащают две-три дюжины людей и губят сотни тысяч других, поят многие штаты Бразилии, большую часть Уругвая и Парагвая и всю Аргентину; они врываются в каждый дом, к ним приникают уста, жаждущие живительной влаги сельвы. Лесорубы Сантьяго-дель-Эстеро[1]*, жители Рио-Гранде-до-Сул, пеоны в эстансиях провинции Буэнос-Айрес и рабочие мясохладобоен в Авельянеде*[2] *не знают, что их любимый напиток горек от пота и крови их братьев в Альто-Паране. Богиня йербы Каа Яри продолжает царствовать, как царствовала века назад, непобедимая Каа Яри*[3]*. Но теперь она уже не друг всем людям. Она убивает одних, чтобы дать счастье другим. Потому-то в темном пятне от напитка мате так и видится порой пятно крови, которая орошает сельву.*

36

— Кто из них мутит воду?

— Я вам так доложу, хозяин. Перво-наперво — оба брата Морейра. Но главный смутьян — Рамон. У обоих имеются револьверы. С ними еще человек шесть-семь. Касерес...

Капатас Мьерес всегда излагал свои донесения с нарочитой деловитостью, чтобы работа его была оценена по достоинству. Санта Крус лежал в гамаке, низко надвинув белое сомбреро на глаза, серо-стальные, зло поблескивающие. Он потягивал йербу-мате, делая долгие, шумные затяжки, а отрываясь от бомбижи, бросал краткие вопросы:

— Откуда знаешь о револьверах?

— О револьверах? Точно знаю. А узнал я так...

Мушиным жужжанием буравил голос мулата сонную тишь сиесты. Он чувствовал на себе пристальный взгляд стальных глаз, скрытых полями белой шляпы, и куда только девалась его обычная самоуверенность. Так всегда с ним случалось в присутствии белых. Мьересу хотелось держаться с хозяином смело, как с равным, забыть холуйские привычки. Но ничего не получалось. С менсу — другое дело. Стоит обрушиться на них с бранью или только скосить глаза в их сторону, насупив лохматые брови, как

[1] Сантьяго-дель-Эстеро — провинция Аргентины.

[2] Авельянеда — город в аргентинской провинции Буэнос-Айрес.

[3] Каа-Яри — согласно легенде гуарани, богиня йербы-мате, покровительница тареферо.

они уже трясутся от страха. Перед толпой менсу нетрудно разыгрывать сеньора. О том, что ты господин, говорят их согбенные спины, выражение почтения или страх на смуглых лицах, когда велишь им тащить бревна для сапекады или класть на весы тюки с йербой. Но почему-то теряешься и лебезишь перед этими белыми головорезами, которые смотрят на тебя с таким презрением. Мулат проглотил слюну.

— Я велел за ними следить... Выследил их Фалейро.

Мулат всегда отступал перед власть имущими. Как тогда, когда случилась эта неприятная история с хозяином лесоразработок на аргентинском берегу Параны. Мьерес был там управляющим, и поначалу все шло хорошо. «Потому что я умею дела делать и выкручиваться, да, сеньор». Но вот однажды из Посадаса приехал сам хозяин и взял его в оборот:

— Я знаю, ты привозишь контрабандой водку и спаиваешь пеонов. Ну, чего молчишь?

Мулат хотел оправдаться, но оробел и прикусил язык. Взгляд властелина его гипнотизировал, сковывал, вызывал дрожь в коленях и во всем теле, как при смертельном укусе ярара. И он уже не мог прийти в себя.

— Тебе это дорого обойдется, грязный негр! Ты у меня пробкой вылетишь отсюда, сволочь!

Мулат давно приготовил ответ на этот случай. А как, мол, было дело с контрабандным сплавом леса без уплаты пошлин? Он-то знал все детали хитроумной операции. Сначала извещали таможню, что есть партия древесины, готовой для маркировки. Затем прибывали инспекторы и выжигали на бревнах клейма в знак оплаты пошлины. Но лес не сплавляли, а тут же замазывали или соскабливали таможенные знаки и снова вызывали инспекторов для осмотра будто бы второй партии. А потом, вместо этой, второй партии, гнали вниз по реке огромнейшие плоты из бревен, контрабандой вывезенных из Бразилии, меченных самодельным фальшивым клеймом. Мьерес прекрасно знал, что в результате последней такой махинации хозяин огреб 5 тысяч песо. Значит...

Однако мулат не решился использовать свой козырь. Хозяин подавлял его надменным видом, резким тоном. Лишь после того, как он был выкинут за дверь, как собака, как обыкновенный менсу, Мьерес отважился на месть и написал донос в таможню в Посадасе. Но хозяин потряс мошной, и таможенники даже пальцем не двинули. Да и

как двинешь, если этот лесопромышленник был приятелем губернатора и потомком одного из «героев завоевателей» — как величают людей, которые истребили индейцев. Кто же пойдет против него?

«Такова жизнь»,— подумал мулат и, вздохнув, поглядел на пышногрудую молчаливую девушку, которая, наверное, в сотый раз подала хозяину мате.

Мьерес кончил свой доклад, но Санта Крус не разжимал губ. Не желает говорить? Дело хозяйское... Но хотя бы предложил сесть. Мулат задыхался от жары — курчавая голова была мокрой от пота, волосатая грудь шумно дышала, ноги прели в сбитых сапогах. Словно угадав его мысли, Санта Крус сказал:

— Садись, если хочешь... Придвинь чурбан.

Усевшись, мулат почувствовал облегчение во всем теле, вытянул ноги, расправил спину, положил на колени свои ручищи.

— Принеси мате Мьересу,— снова рявкнул из-под соломенной шляпы сухой, металлический голос.

Беря мате, мулат успел задеть рукой грудь молчаливой девушки, которая ответила ему улыбкой сообщницы.

— А что, если мы пошлем их получать деньги в Пуэрто?..

Хозяин прервал себя на полуслове, чтобы мулат подхватил его мысль. Ему нравилось, когда его понимали без лишних слов. На всякий случай...

— ...как обычно...

И снова умолк, но, увидев по загоревшимся глазам Мьереса, что тот его понимает, продолжал:

— А ты займешься ими, в лесу...

Вот так. Мулат давно знал, куда клонит хозяин. И в глубине души злорадствовал, видя, как неумело хитрят эти белые, презирая их в такие минуты. Они думают, что все знают, все умеют, но, попав впросак, могут только убивать. Заставляют убивать. И тогда призывают его, Мьереса.

— Как обычно!

Правда, платили ему за это неплохо. Жаловаться не приходилось. Но суеверного мулата порой охватывала тревога, что эти грязные бумажки, полученные за кровь десятков убитых им людей, не спасут от кары. Когда-нибудь придется расплачиваться. В этом мулат был уверен. Но почему он должен расплачиваться один? А другие? А этот трусливый гад Санта Крус? А дон Хулио Альика,

главный виновник злодеяний? А хозяева всех других йербалей и лесов Альто-Параны? Когда же придет их черед платить по большому счету? Он-то сам остается жить в лесах, и смерть найдет его здесь. Но те, которые ему приказывают убивать и дают деньги, унесут отсюда ноги. Они наслаждаются жизнью там, в Буэнос-Айресе или в Асунсьоне, в Посадасе или в Рио-де-Жанейро. У них красивые белые женщины, никогда и не нюхавшие сельвы; автомобили, дома и слуги. Они водятся со всякой знатью и устраивают такие празднества, о которых можно только мечтать, а как наживут капитал, только их тут и видели. Его же, Мьереса, презирают и хозяева и пеоны. Глаза каждого при виде наемного убийцы стекленеют от испуга. И в груди мулата поднималось возмущение. Мьерес считал себя жертвой обстоятельств, но изменить ход событий не мог. Отступать некуда. Он осужден на презрение власть имущих и на лютую тайную ненависть менсу. Он должен убивать...

— Ты займешься ими, как обычно...

...убивать, пока кто-нибудь не решится прикончить его самого. Убеждение, что так и будет, приносило ему спокойствие, спокойствие обреченного, принимавшееся многими за храбрость. Поворачиваясь спиной к пеонам, он всегда опасался удара ножом, которому суждено отправить его в мир иной. Но мулат тщательно скрывал свой страх. Лучшей маскировкой служило его видимое равнодушие к опасности и звериная жестокость. Раскусил бы его кто-нибудь — и конец. А пока он был неуязвим.

— Ну, что скажешь?

Мьерес не видел глаз Санта Круса, но понимал, что тот за ним наблюдает. И, как всегда, постарался скрыть свое беспокойство и боязнь, напустив на себя обычную невозмутимость. Но в этот самый миг ему вдруг вспомнился разговор на борту парохода «Бермехо» с одним туристом, возвращавшимся с водопадов Игуасу. Турист был инженером или кем-то в этом роде. Длинный, тощий, с очками на носу, похожий на филина. Он спросил Мьереса, правду ли говорят «об убийствах несчастных рабочих». Мьерес постарался честно и правдиво рассказать, как обстоит дело.

— Видите ли, сеньор, вся беда в том, что они получают задаток. Пеоны приезжают из Посадаса уже с должком в триста — пятьсот песо каждый. И вот вам дают пятьсот человек и говорят: «Ты отвечаешь за все эти денежки и должен заставить людей их отработать. А если кто удерет,

пеняй на себя». Но ведь эти вшивые мепсу не любят работать. Какая там работа! Им бы только пожрать да погулять. Вот и дают тягу при каждом удобном случае. Это ведь совсем другие люди, чем вы или я; клянусь вам, сеньор. Ну, и приходится заставлять их уважать начальство.

Против всякого ожидания турист вдруг возмутился:

— Как же так? Вы, значит, оправдываете убийства? Но это же дикость! Теперь я вижу, что не зря...

Мьерес пробовал его успокоить. Но инженер был вне себя от негодования и выскочил из-за стола, крича:

— Стыд и позор, что такие вещи могут твориться в Аргентине! А еще говорят, что мы цивилизованный народ! Не понимаю, куда смотрит правительство!

Инженер еще долго нес подобную чепуху, а потом, при встречах с Мьересом, демонстративно отворачивался. Мулат же винил себя лишь в том, что разоткровенничался с первым встречным. Не надо было болтать. Все равно никто его не поймет. Интересно, как управился бы с мепсу этот городской молодчик в лесах. Да его бы там сразу пришили! Этих мепсу надо понимать, угадывать их затаенные помыслы, знать даже то, что им снится. И всегда держать их в узде, не расслабляясь ни на минуту. Нашел кому говорить об этих «несчастных рабочих» — ему, Мьересу, у которого на животе еще белеет рубец, оставшийся на память от страшного удара ножом, нанесенного нежданно-негаданно Сантосом. А эти городские болваны еще жалеют таких бандитов!

Санта Круса озадачивало и даже немного смущало молчание мулата. Что с ним сегодня? Сощурившись, хозяин с любопытством наблюдал за Мьересом из-под надвинутого на глаза сомбреро. Да, отвратительная рожа. Перебитый в драке, приплюснутый — почти вровень с выпирающими скулами — нос. Густые щетинистые усы над толстыми губами, прикрывающими темные кривые зубы. Черные курчавые лохмы, падающие на низкий лоб, путающиеся с волосами, которые растут из ушей, как у обезьяны. А на груди, жадно глотающей горячий воздух, так ходуном и ходит грязная рубашка.

Но надо отдать ему справедливость. Парень свое дело знает, думалось хозяину. Он провел лет тридцать в Альто-Паране, и за это время от него ушло не более полдюжины пеонов. В общем-то, побеги были явлением частым и в этом хозяйстве, и во всех остальных. Но едва пеон, спасаясь от расправы или каторжной работы, доверялся сель-

ве, как Мьерес седлал коня и отправлялся на поиски. Один или вдвоем, смотря по обстоятельствам. Он прекрасно знал лес и был уверен, что выследит беглеца, как бы тот ни петлял и ни кружил по дебрям. Убийца преследовал жертву упрямо и настойчиво, словно по запаху шел, и обязательно настигал. Силы всегда были неравны. У одного только мачете, у другого — револьвер, а иной раз и винчестер. Преследователь без лишних слов целил пеону в голову и укладывал на месте первым же выстрелом. Потом посылал других пеонов отыскивать и хоронить труп. Мьерес не скрывал своих преступлений. Напротив, был доволен, если слухи широко распространялись — ибо в гласности и состоял основной смысл расправы. Интересно, скольких он уже прикончил?..

— Ну? Так что скажешь?..

Хозяин взмахнул рукой, словно сбрасывая пелену молчания.

— Конечно, вы правы, дон Санта, надо крепко проучить этих Морейра, и других тоже. Только...

— Только?..

— ...очень они осторожны, говорю. Если бы сперва их обезоружить. Эти парни наверняка будут отстреливаться.

«Или старый душегуб стал трусить? Поди понадейся на эту черную сволочь! Паршивый мулат! Ссукин...»

Нет, хозяин так не сказал. Только подумал. Нельзя было терять времени. В его голове уже созрел другой план, но он счел излишним сообщать что-либо Мьересу и ограничился кратким распоряжением:

— Ладно. Тогда пойдешь к Быку и скажешь ему...

Выслушав распоряжение хозяина, мулат кивнул и пошел к своему коню. Он был уверен, что теперь белый человек сдвинул наконец эту проклятую шляпу на затылок и сверлит его спину своими серыми глазами, провожает презрительным взглядом.

В ЗАПАДНЕ

Со всех сторон тащатся мулы к хозяйству, где взвешивают листья йербы. Два по одной лесной дороге, шесть по другой и целый караван по третьей. Медленно, не спеша, но и не останавливаясь, бредут мулы по густой зелени, по стелющимся лианам, перешагивают через упавшие деревья. Огромные навьюченные на них кожаные тюки, набитые слегка подсушенными почерневшими листьями,

покачиваются в такт шагам. Рядом идут пеоны, постегивая мулов колючими ветками. Неторопливый, вялый ход животных убаюкивает, укачивает людей, которые еле плетутся, а мулы, оставленные без присмотра, идут еще медленнее, уже едва передвигая ноги. Казалось бы, бесконечная тропа выводит к большаку. Люди и животные оживают, вот-вот покажутся неуклюжие строения центральной усадьбы Санта Круса. Там йерба будет взвешена, как обычно. Как обычно, сборщиков обсчитают да еще и выругают за то, что листья, мол, сыроваты, много стеблей и веток. Как обычно, весы установлены так, что обвесят на несколько килограммов. Тареферо захотят, как обычно, протестовать против этого явного надувательства и других подлых уловок, с помощью которых им уменьшают жалованье. Но в конце концов они поймут, что потеряют еще больше, если будут жаловаться. Как обычно, зеленый поток вольется в примитивные сушильни-барбакуа, где уру и его подручный поджариваются на медленном огне вместе с йербой. Затем шуршащая река устремится в деревянные чаны-кончабадоры, в которых люди крошат и крошат ее мачете, ритмично взмахивая руками, как мельницы — крыльями. И вот уже вместо вороха подвижных, блестящих листьев возвышается куча серой трухи, откуда там и сям упрямо торчат изрубленные ветки. Эта груда пепла — единственное, что остается от исполина с белесой корой, сраженного топором. Когда йерба-мате станет утолять жажду людей, ствол дерева уже успеет сгнить среди погруженных в сказочную дремоту тропических цветов, лиан исипо и мхов, которые сплетут над ним, уснувшим навеки, венок забвения. Дерево уже не зацветет весной, но темно-зеленая река йербы не остановит своего бега.

37

Выкопав мотыгой вокруг ранчо ямки в земле, братья кинули туда зерна. Так, примитивно, по-креольски, было посажено немного маиса, маниока и бананов. В это воскресенье на рассвете Рамон уже успел прополоть огород. Сорняки буйно разрослись. Уму непостижимо, как быстро они растут и вширь и ввысь. Одни растения приходилось подрубать мачете, другие вырывать с корнем — на руках засыхал их липкий сок. Внезапно Рамон услышал пофыркивание лошадей. Взглянув на тропку, выбегавшую из

сельвы, замер, да так и стоял, пока четверо всадников не подъехали почти вплотную. Что за чудо? Сам Анастасио Рамирес, Бык, пожаловал сюда! Рамон тихо присвистнул и оглянулся на брата, который тоже с удивлением смотрел на редкого гостя.

— Как поживаешь, Бык? — почти весело приветствовал его Рамон, с удовольствием ощущая тепло револьвера, прижатого поясом к телу.

Косматые брови верзилы сошлись на переносице. Он угрюмо буркнул в сторону, будто обращался к подбежавшим собакам:

— Живем...

Никто из прибывших не собирался спешиваться.

Со стороны леса долетал легкий треск ломавшегося тростника. Солнечные лучи уже ярко поблескивали на мокрой от росы листве, наполняя эти утренние часы в сельве каким-то радостным умиротворением. Темные, непроницаемые лица людей ничем не выдавали тревогу.

— Может, заварить мате? Или лучше терере? Становится жарко...

Приезжие отказались. Спутники Рамиреса изваяниями застыли на лошадях, горя желанием положить конец затянувшейся напряженной сцене.

— Санта Крус велел сказать, чтобы вы сдали свои револьверы. Сколько вам повторять, что здесь нельзя носить оружие. Только мачете для резки йербы...

Все с облегчением перевели дух. Обстановка прояснилась.

— А почему мы должны их сдавать? — спросил Адольфо, не повышая голоса.— Они у нас для защиты, на всякий случай...

— Да, оружие есть. Мы не отпираемся,— вмешался Рамон,— но задаром его не отдадим. Мы за револьверы деньги платили...

— Значит, не хотите отдать?

— Нет, мы так не говорим, приятель. Но мы не мальчишки, работаем здесь давно... Почему к нам такое недоверие? Если сам хозяин нам не верит, кто же тогда нам будет доверять?..

Высокие скелеты обрубленных деревьев черными знаками вопроса выделялись на фоне сверкающей зелени сельвы.

— Значит, бунтуете?

— Нет, и не помышляем...

Все понимали, что слова уже ни к чему. Даже собаки, казалось, чувствовали драматичность момента и словно окаменели. Только их глаза настороженно следили за каждым движением обоих менсу. Мозолистые руки так и чесались от неистового желания схватиться за оружие. Тишина свинцовой тяжестью давила на мужчин, на лошадей. А солнце, победно сиявшее на небе, обрушивало на них весь свой жар.

Несколько минут спустя, глядя вслед лошадям, скрывавшимся в зеленой чаще, братья Морейра все еще не могли поверить, что Бык действительно отступил — наверное, впервые в жизни. Он только запретил им, от имени Санта Круса, появляться с оружием у здания администрации.

В ЗАПАДНЕ

Раздается сухой, отрывистый стук топора. Тишина уже готова опуститься на сельву, но ее опять разгоняют, вспугивают другие удары. В древесном стволе зияет белая рана, в которую зло и неотвратимо вгрызается топор. Вот огромная рана разрывает все тело дерева, и вместе с соком из него уходит жизнь, полная солнечного света, шума дождя, гомона птиц и писка коати в его кроне. Почти столетний великан, проживший спокойно, не ведая об опасностях, падает быстро и покорно. А он мог бы оказать сопротивление полуголому менсу, объяснить ему, что нет лесорубу пользы от гибели йербалей, растолковать, что их общий враг — далекий ше-рубиша, который эксплуатирует людей еще больше, чем природу. Но лесоруб не может его услышать. Он уже давно разучился понимать язык леса. Капатасы ходят неподалеку, да и сам он должен заработать побольше денег, чтобы покрыть свой никак не уменьшающийся долг и хотя бы на несколько дней вырваться на свободу. Так хочется уехать в Посадас, погулять, напиться до потери сознания, хоть и снова пришлось бы попасть в лапы вербовщика в одном из этих филиалов ада, которые зовутся портами Альто-Параны. Поэтому нечего дереву молить о милосердии. Человек все равно будет рубить его, пока оно не упадет на землю, разметав свою густую гриву,— беззащитное, как обесчещенная девушка. Менсу не понимает, что не дерево его истинный враг, или, может быть, пока еще не может замахнуться острым топором на своего настоящего врага, далекого ше-рубиша...

38

Рамон ловко орудовал иглой, зашивая свои старые, залатанные бомбачи. Кто-то сказал:

— Гляди-ка, «пес» бредет...

— Это Епископ. Чего ему надо?

Рамон продолжал спокойно заниматься своим делом, пока охранник не вырос прямо перед ним.

— Mbaeicha pa ndé caarú!..[1] — начал было «пес» со слащавой улыбкой, но Рамон перебил:

— Ну, говори. Чего надо?

— Хозяин приглашает тебя на двадцать пятое число. На аргентинский праздник, понимаешь? Большая будет гулянка, с музыкой, с танцами...

— Меня... хозяин приглашает?

— Да, тебя и брата твоего. Что ему сказать? Pejota'pá?[2]

Напряженный, потемневший взор Морейры скользнул по кромке сельвы, сливавшейся вдали с горизонтом.

— Что ему сказать?

— Ладно. Скажи, rhojota!..[3]

Игла снова впилась в грубую ткань.

— Везет тебе,— заметил один из менсу, искоса поглядывая на Рамона.

— ...как утопленнику! — подхватил другой, готовивший холодный терере.— Как бы тебя там не пристрелили, сынок. Смотри, готовят они, видать, тебе встречу...

— Знаю! — кивнул Рамон, оторвав нитку, и стал натягивать бомбачи.— Игла тебе нужна?.. Ты что думаешь, хозяин плясать с ним зовет?.. Мы люди маленькие, наше дело — работа...

— Вот и я... А как же ты? Пойдешь или?..

Рамон Морейра уже удалялся, распрямив могучие темные плечи.

— Пойду... Коли меня приглашают...

— Тебя же убьют!

— Коли приглашают...— донеслось издалека.

---

[1] Добрый день! *(гуарани.)*
[2] Придете? *(гуарани.)*
[3] Придем! *(гуарани.)*

В ЗАПАДНЕ

Из моря зелени горделиво поднялась орхидея. На стройном стебле закачались три желтых цветка в черных точках с белыми тычинками в центре. Орхидея притаилась за деревом и огляделась. Мимо с криком пролетели дрозды. Потянулась куда-то живая цепь больших муравьев с раздутыми брюшками. Через час они все исчезли. На соседних ветках покрасовался яркокрылый попугай и вскоре тоже улетел. Потом вылез из земли паук-норушник, оплел паутиной ямку, положил сверху травинку с сухим листком и скрылся. Немного погодя с великим трудом приковылял сюда жук сирабаста. Стремясь обойти неодолимые препятствия — сухие стебли, камешки, кучки земли,— он выбрал путь прямо к западне. И вот его передние лапки отчаянно задергались в поисках опоры, но, увы, он падает вниз, прямо в цепкие паучьи лапы. На миг из-под земли показалась голова паука и снова исчезла. Вокруг опять тишина. Орхидея лениво, тихо закачала лепестками.

39

До центрального хозяйства Санта Круса было километров пятнадцать, не меньше. Братья шли все утро по едва заметной тропе. К концу пути они освежили усталые ноги в ручье, ополоснули ключевой водой вспотевшие лица. Кто-то, должно быть, успел известить начальство об их приходе, ибо, когда они подходили к главному зданию, там уже собралось немало людей. Но братья шли твердым шагом вперед и остановились метрах в десяти от дюжины охранников, которые, поигрывая карабинами и недвусмысленно усмехаясь, встречали их у глинобитной стены. Из-за угла дома вышли управляющий Сирило и сам Санта Крус. Ясно было, что никто о празднике и не думал.

— Ну! — заорал хозяин, шагнув вперед.— А теперь сдадите вы оружие или нет?

— Хозяин, послушайте...

— Молчать, сволочь! Или подчинишься, или пулю в лоб получишь! Еще рассуждать вздумал!

— Не надо так, сеньор... Мы не знаем, чего вы на нас...

— Против Санта Круса не попрешь, понял? От меня еще ни один бунтовщик живым не ушел! А вы возчиков да менсу на бунт поднимаете, револьверами своими бахвалитесь...

— Послушайте...

Карабины ожили, зашевелились в руках охранников, которые чуть покачивали их, как грудных детей. Некоторые, будто разговор их вовсе не касается, смахивали пыль со стволов, посмеивались...

— Ну-ка выкладывайте оружие! Буду я еще возиться с такими подонками, как вы!

— Послушайте, хозяин, если вы нам не будете доверять, другие тоже...

— Хватит разговоров! Давайте револьверы!

— Но они нам больших денег стоили и нужны для защиты огородов от разных тварей и зверей. Они нам очень нужны, хозяин...

У всех капатасов из-за пояса вызывающе торчали рукоятки револьверов.

— Мне думается, по случаю двадцать пятого мая надо отвалить им толику,— во всеуслышание с издевкой сказал Фалейро.

— Да и сполна можно,— в тон ему ответил Чаморро.— Держи карман шире.

— Хватит! Или сдаете, или...

Адольфо перехватил спокойный взгляд Рамона, равнодушно проговорившего:

— Ладно, ничего не поделаешь. Надо сдавать...

— Да, делать нечего! — громко подтвердил Адольфо.— У вас уже и стрелки наготове...

Санта Крус хотел было приказать, чтобы у них взяли оружие, но успел только охнуть. Не спеша сунув руки за пояс, братья Морейра в миг вытащили револьверы и открыли огонь. Когда ошеломленные капатасы пришли в себя, кое-кто из них уже корчился, раненный насмерть.

Подрядчик дон Амаро был сражен наповал пулей в самое сердце, за ним грохнулся наземь Сирило, в которого Рамон целился особенно тщательно. Братья Морейра действовали четко и хладнокровно, будто рубили тростник и ветки йербы. Жизнь научила их обращаться с оружием. Они успевали расчетливо выбрать цель и старались держаться к противнику боком, чтобы не давать ему вести прицельный огонь. Охранники, потеряв начальников, оторопев не от выстрелов, а от смелого нападения мепсу, стреляли наугад, почти не целясь. Многие бежали. Рамон подскочил к Фалейро, который оказался неподалеку, и заколол его ножом.

— Вот тебе,— приговаривал Рамон, нанося удар за ударом,— за Айялу, за Амелию, за сынка...

Санта Крус куда-то исчез. Перезаряжать револьверы не было времени. Схватив карабин одного из убитых, Рамон прикрывал отступление. Братья бросились в заросли, шальные пули, свистевшие над их головами, дырявили сочные листья.

Когда они пробивались с мачете в руках дальше, в глубь чащи, Адольфо нечаянно раздавил ногой паука-норушника, который только что разделался с жуком и вылез из засады.

В ЗАПАДНЕ

В сельве человек может выжить, лишь превратившись в зверя. Особенно беглец. Должны проснуться, обостриться все инстинкты — только тогда он может спастись. Ему надо обладать чутким слухом оленя, ловкостью ягуара, зрением стервятника. Надо подобно им уметь незаметно красться и бесследно исчезать, не спать и не есть, если опасность близка. И уметь быть терпеливым, как ньякани́на[1]*, которая часами сторожит птичье гнездо, чтобы улучить удобный момент для нападения. Только тот способен жить в сельве, кто станет одним из ее сыновей, склонив голову перед нею и перед ее своеобразными законами, которые вносят порядок в этот, казалось бы, величественный хаос. Надо познать язык растений и другие приметы леса, уметь читать следы, доверяться воде и звездам. А главное — не отчаиваться. Никогда не отчаиваться, даже если от чувства жуткого одиночества перед глазами запляшут привидения; даже если после долгих дней тяжелого пути снова придешь туда, откуда начал свой путь; даже если преследователи — будь они прокляты — идут по пятам. Иначе конец. Или, что еще хуже,— безумие. Сельва мстит за себя.*

40

Братья уже потеряли счет дням и часам, прошедшим после побега. Они знали, что их преследуют отряды охранников-комитиверос и что сам побег — гораздо больший подвиг, чем бой у дома Санта Круса. Это было действи-

---

[1] Ньяканина — крупная неядовитая змея.

тельно так. Где-то недалеко от них рыскали люди. Сколько? Если для убийства одного бедняги менсу, которому не желали платить денег, снаряжали до восьми человек, то за ними наверняка послали полсотни. За ними, свершившими тяжкое преступление, которое состояло в том, что они с оружием в руках защищали свою жизнь, а также в том (и это особенно усугубляло их вину), что они перед всеми менсу утвердили священное право на восстание, бросив вызов власть имущим. И теперь необходимо было устроить над ними показательную расправу, которая запомнилась бы неонам на долгие годы. Поэтому беглецы, прислушиваясь денно и нощно к каждому подозрительному шороху в сельве, без отдыха шли вперед. Самое тяжелое время наступило, когда пошел дождь. Но и тогда они продолжали путь.

Однажды вечером случилось несчастье. Рамон вдруг сказал:

— Стой. Мы заблудились в тростниках.

В самом деле, они оказались там же, где проходили вчера. Как это могло случиться? Но братья действительно попали в обширные заросли тростника такуары, где кружили долгие часы, пока не вышли на прежнее место. И всякий раз, когда они думали, что уже выбрались из такуараля, перед ними вырастали новые шеренги высоких, крепких тростин, которые уже не поддавались затупившимся мачете. Сильный дождь лил не переставая. Оба вымокли до нитки, смертельно устали и хотели есть. Дело было плохо.

— Фиху-у-у...

От неожиданности братья выпрямились. Крик раздался близко. Километрах в двух, не больше. Это был «мбурео» — сигнал гуарани, который обычно подают друг другу люди в лесах Альто-Параны. Похоже, что беглецов окружали, умело брали в кольцо.

— Иху-у-у...

Крики участились, летели то с одной стороны, то с другой, слышались за спиной. Паузы между ними становились четче, определеннее. Эти протяжные крики прорывались сквозь монотонный шум дождя и нескончаемый треск ломавшегося под ногами тростника, сводили с ума.

— Иху-у-у...

Крики становились громче, невидимые сети затягивались. Нервы обоих были напряжены до предела; едва сти-

хал позывной вопль, тут же слышался неминуемый отклик:

— Фиху-у-у...

Стоило ли отчаянно сражаться ради такого конца? Стоило ли так долго бежать, разбивая в кровь босые ноги, жевать глину и коренья, чтобы хоть немного утолить голод, так бешено врубаться в непроходимую чащобу, что деревенели руки, так страдать, чтобы в итоге бесславно погибнуть? Даже нельзя умереть в перестрелке: порох отсырел в мокрой одежде!

— Иху-у-у...

Крик звучал теперь протяжнее, пронзительнее, словно издевательски, резко обрываясь на высокой ноте:

— ...у!

Рамон в неистовой решимости рванулся вперед.

— Пошли, Адольфо! Быстрей!

— Не пойду. Все равно. Мы попались... Я до смерти устал.

— Что-о?

— Брось ты меня. Иди один...

Нельзя было терять ни секунды. Победные вопли врагов раздавались уже совсем близко. Рамон подскочил к брату, прислонившемуся к дереву, и — что делать? — ударил его по щеке.

41

Амелия не находила себе места от тоски. Мужчины ушли рано утром, не сказав куда. Она терпеливо ждала их, но и вечером они не вернулись. Ее стало одолевать беспокойство. Растущее волнение Амелии словно передавалось коати, который метался из угла в угол, тревожно пофыркивая. Она ласково, успокаивающе похлопала животное по спинке. Снова подошла к двери и вдруг почувствовала озноб, по рукам забегали холодные мурашки. Страх полз из ночи, лез из необъятной сельвы, проникал в ранчо мохнатым пауком, который шевелился под крышей, и жуткими тенями, которые плясали по стенам при слабом свете мигающей свечки. Она была одна, совсем одна в тростниковом ранчо, в степях зеленой темпицы-сельвы. Подумав об этом, Амелия еще больше испугалась. Страх сжал ее в своих холодных объятиях, стал душить костлявыми пальцами — сначала слегка, играючи, потом все сильнее, сильнее. Амелия вскинула руки, стараясь вы-

рваться, спастись и... увидела, что рядом нет никого. А в ушах еще стоял собственный дикий вопль.

— Я схожу с ума,— почти с удивлением сказала она себе. Но это был лишь проблеск сознания. Страшная, неодолимая сила влекла ее в пропасть безумия.

О двойную мглу — ночи и сельвы — разбился крик женщины, упав подстреленной птицей на ветви. Тьма будто сдвинулась еще плотнее. Амелия, очнувшись после первого припадка, попыталась встать с кровати, сосредоточить мысли на Рамоне. Но все образы расплывались, ускользали прежде, чем она успевала удержать их. Вот она видит себя в киломбо Посадаса, и тут же новое видение: вместе с матерью они стирают белье на речке в Вильяэнкарнасьоне. А потом перед ее глазами вереницей — пьяно гогоча, рыдая навзрыд, грозя кулаками — потянулись мужчины, некогда прошедшие через ее жизнь. Вот и отчим с гитарой через плечо, все ближе и ближе его гнусная рожа со слюнявым ртом, уже тянутся его руки к девичьей груди, он уже рядом, обнимает ее... и внезапно превращается в Фалейро. Охранник, выкручивая ей руки, злобно шепчет: «Увидишь, несдобровать твоему Рамону...»

Амелия не могла унять дрожь в ногах и руках. Если бы не грубые серые чулки, наверное, было бы слышно, как стукаются одна о другую коленки. Когда она нервно сплетала пальцы, раздавался хруст, вернее, странный звук «кра-крак», будто тихо квакает лягушонок. Кваканье отдавалось болью в голове, тревожило душу. Страх овладел всеми ее чувствами и ощущениями, спутывая их, сталкивая в какой-то жуткой борьбе, а потом клещами схватил сердце и сжимал его, сжимал, пока не выжал из него последнюю каплю крови. И этот проклятый сухой комочек бился в груди как сумасшедший, выстукивая лихую весть: «Пришла бе-да, при-шла бе-да...» Амелия прижала руки к потным вискам.

— Оно разорвется! — проговорила она громко, будто кто-то мог услышать ее и утешить. И, рыдая, упала головой на стол, который лишь жалобно скрипнул.

Было уже около полуночи. Ни Рамон, ни брат его не появлялись. Видно, ждать их напрасно. Предчувствие переходило в страшную уверенность. Ее тумана вшийся разум говорил, что никогда больше ей не видеть мужа. Наконец Амелия так уверовала в это, что уже почти не испытывала ужаса при мысли о его смерти, о реальной смерти.

В нее теперь вселяло страх лишь ее одиночество и ночные кошмары. И то время, которое должно пройти, прежде чем она получит неопровержимое доказательство его смерти. Предчувствия ее никогда не обманывали. Так же было и тогда, когда ее изнасиловал отчим. Она мучилась и плакала от предчувствия неизбежного, а после того, как пришла беда, глаза ее остались сухи. Она предвидела свою скитальческую жизнь с мужчинами и не ошиблась. Она предчувствовала также, что не суждено ей родить живого сына. И, увидев маленькое холодное тельце, не обронила ни слезинки, ибо все слезы были выплаканы раньше. А теперь — Рамон.

Бешеный ветер стегал пальмы, гнул стволы деревьев, возмущенно скрипевших в ответ: «руф-руф!» Коварный ветер кружился в зарослях, налетал на тростник, взметывался вверх и оттуда обрушивался вниз, на хилую лачужку, нагло врывался внутрь мрачным посланцем ночи, сельвы, страха.

Но смерть уже не страшила Амелию. Рамон умер, и слезы не могут воскресить его. Он только что привиделся ей бездыханным с двумя пулями — двумя кровавыми ранами — в широкой груди. Так же лежал Лоренсо. Так же лежали Майдана, Панчо, Паниагуа. Она столько раз слышала эти истории, столько времени жила в ожидании этого страшного часа, что была готова покориться року со смирением древних индейцев. Но только если бы не это ужасное одиночество. Одна, совсем одна в лесу, в пугающем мраке, а он — мертв, лежит где-то с двумя пулями в груди.

Бредя наяву, Амелия не слышала шагов. Кто-то ходил возле ранчо. Она вдруг подняла голову, откинув разметавшиеся волосы:

— Рамон! Ты?!

42

Красная грязь липла к сбитым в кровь, израненным ногам. День выдался очень жаркий, и тучи мошкары вились над головой, не отставая ни на шаг. Но беглецы были счастливы. Утром кончился дождь, и тотчас выглянуло солнце, разбрызгав яркий свет по всему лесу. Теперь братья знали, куда идти, следуя течению ручейка, который должен был неизбежно привести их к Параие. Им уже не заблудиться: днем прозрачная вода искрится под солнцем, а ночью в ее синеве мерцают отблески звезд. Братья дав-

но не спали и не ели, но радостное возбуждение гнало их вперед. Адольфо вспоминал свое детство, стараясь отвлечься от трудностей пути и забыть о боли в суставах. Рамон же думал о будущем. Теперь все было просто и хорошо, как эта прошмыгнувшая мимо ящерица, как этот журчащий ручей-проводник, как это чувство огромного счастья оттого, что они вырвались на свободу, насмеявшись над охранниками. Даже монотонный жалобный писк, приносящий, как говорят, несчастье, птицы гишаягуа́ — «куа, куа» — не наводил тоски. Они шли вперед.

О происшедшей между ними стычке не было сказано ни слова. Рамон, ударив осовевшего от усталости Адольфо, взвалил его себе на спину и тащил целый час, пока они не выбрались из тростниковых дебрей и не наткнулись на голубую колею, указавшую им правильный путь. Оклики «мбурео» мало-помалу затихали вдали, а грязные ноги путников все месили и месили глину. Казалось, суровые лица мужчин тоже были вылеплены из глины, но их титаническая воля была выкована из железа, решимость высечена из камня. Они шли вперед.

В ЗАПАДНЕ

Тяжело махая крыльями, лесной фазан полетел к кряжистому дереву гуатамбу́. Сел на ветвь, распушил свои черные перья и с высоты оглядел зеленую ширь. Буйная тропическая растительность неповторима в своем разнообразии и великолепии. Вот крепкостволая мария-прета, за ней приземистый анчикильо, а там дальше — дикая айва и гуайява с яркими плодами. Рядом тянется в высь стройный лапачо, подле него бросают на землю тень — как три темных зонтика — три красавицы сосны. Почти все деревья обвиты, связаны друг с другом лианами исипо, тянущими во все стороны свои щупальца, воздвигающими на тропках плетни. А внизу, на земле — сказочное царство узорчатого папоротника амамбая и острых вееров осоки карагуата, заросли тростника такуары и колючих кустарников, живая стена вьюнков, осаждающих изящные и надменные пальмы пиндо. Царит всеподавляющая тишина, которую не могут нарушить ни крики прыгающих по ветвям обезьян, ни легкий посвист птицы сурукуа́, ни треск сухих веток, ломающихся под жаркими лу-

чами солнца. Но вдруг все изменилось. Тревожно шелестит листва, в испуге мечутся птицы и животные, в воздухе носится опасность. Раздается выстрел, и птичка саракура пушистым комком падает вниз. Зеленый клювик уткнулся в землю. Тишина исчезла. Идет человек.

43

Амелия вдруг осеклась, умолкла. Раскрыла глаза во всю ширь, до боли и с высот своей внезапной радости снова покатилась во мрак безумия. К ней подошли двое мужчин. Прислонив к стволу винчестеры, дали ей воды, но она с такой силой сжала зубы, что вода пролилась. Глаза опять раскрылись, но взгляд туманился, блуждал.

— Женщина, видать, не в себе...— сказал худой канатас и, обратившись к Санта Крусу, добавил: — Слыхали? Когда вы вошли, она закричала: «Рамон»... Сбесилась, что ли?..

Управляющий не удостоил его ответом и испытующе оглядел кровать, сундук, разбросанную одежду, стол. После детального осмотра процедил сквозь зубы:

— Я так и знал... Эти подонки уже далеко. В мышеловку они не вернутся, ясно...

— Бык их схватит наверняка...

Хозяин вдруг взъярился:

— Все вы тут подонки, дерьмо! Все до единого. Если их не поймают, половину из вас уволю!

Санта Крус встал. Раненая рука висела на серой перевязи. Рана горела. Видимо, поднялась температура: его бросало то в жар, то в холод. Одолевала слабость. Но ярость прибавляла сил. Внутри ранчо и снаружи люди смотрели на него в почтительном ожидании.

— Эй ты! — обернулся хозяин к Ортигосе, угодливо склонившемуся перед ним.— Пошли еще десятерых к большаку. И пусть Феррейра идет со своими людьми наперехват к порту. Живо!

Послышались распоряжения, шум шагов, лязг оружия. Вокруг злобно завывал ветер. Взор Санта Круса скользнул по рваным и грязным бомбачам и сапогам охранников.

— Скажи, что дам много денег тому, кто мне их доставит, живых или мертвых!

Крохотное мигающее пламя свечи словно увеличивало в объеме темные фигуры людей. Они еще с минуту

тяжело топтались на месте, перекинув винчестеры через плечо и будто ожидая чуда, которое освободило бы их от незавидного поручения. И наконец, понурившись, ушли один за другим.

— Что с этой... с Амелией делать будем, хозяин?

— Бери себе. Не стесняйся. А ранчо отдам Перальте.

— Но ведь...

Санта Крус уже вышел из ранчо, злой от неудач, от боли в руке. Ортигоса, хмурясь, последовал за ним.

— Или тебе не нравится подарок?

— А кому понравится? Она же полоумная...

Мужчины уставились друг на друга. А женщина тихо смеялась, словно видела что-то очень хорошее. Да, Рамон не умер. Это враки. Разве не он был здесь, вот только что? Где же он сейчас? Почему опять ушел?

И она стремглав бросилась вон из ранчо, в ночь.

— Рамон! Ра-мо-он!

44

Братья уже верили в то, что худшее — позади. Сельва, укрыв их, продолжала милостиво с ними обращаться. Сначала им на пути попались соты диких пчел мондры, и мед подкрепил беглецов. Потом неожиданно встретили Вентуру Лопеса, прокаженного, который уединенно жил в маленьком ранчо на опушке леса. Они отдохнули у него несколько часов да еще получили бесценные подарки: сухую одежду, восемнадцать патронов и дружескую улыбку человека. Приободрившись, продолжали путь. И даже позволили себе немного поспать. Адольфо прилег первым, а Рамон сторожил лагерь от лесных хищников. Но терпкие ароматы леса, жаркая ночная духота и усталость сморили его, и на стражу встал Адольфо. Иногда удавалось убить дикого фазана. И после такого обеда, когда были обглоданы последние косточки, их обветренные, заросшие щетиной, исцарапанные лица расплывались вдруг в неожиданной, белозубой улыбке. На одиннадцатые сутки они набрели на деревню индейцев каингуа. Много слов не требовалось. Индейцы все понимали. Братья пробыли у них целый день, на время забыв об еще не минувшей опасности. Индейцы снабдили их маниоком, бататами и курицей, а они отдали рубахи и шейные платки, в которых каингуа нуждались. И снова пошли дальше, держа путь к Параве.

В ЗАПАДНЕ

С чем может сравниться Парана? Фантастическая серебряная рыба в светлую лунную ночь; волнующаяся темная пампа в ненастье, когда луна не раскрывает своего окна в тучах; дивная, непостижимая сирена в солнечный полдень. Бесконечная, грациозная, пугливая змея, как те огромные ярара, что ютятся там, в верховьях, на берегах. Красавица, чье тело осыпано золотыми чешуйками хищных рыб дорадо. Плодородная борозда, животворная рана земли. Река, порой ясная, кроткая, а порою бушующая вспененная, своенравная, наводящая страх на бывалых моряков. Капризная и неукротимая у водопада Апипе́, где она падает в бездну; ласковая и спокойная среди лесистых холмов Тею-Куаре; необузданная кобылица, скачущая в дебри бразильской сельвы. Одушевленная вода, которая, кружа и извиваясь, тщетно старается догнать самое себя. Медно-красная нить среди неоглядной зелени, восторженный крик нашего северо-востока, удивительного, неописуемого. Кто сложит о тебе восторженную песнь? Кто наконец воздаст тебе должное, верная, сильная, пылкая любовница аргентинских прибрежных утесов, щедрая мать и кормилица многих провинций и стран, наша родная река, богиня Парана?

45

И вот наконец она, Парана. Река открылась их взору на шестнадцатый день пути.

Сколько времени можно выдерживать страшное нервное напряжение? Час, день, несколько дней. Нервы подчиняются собранной в кулак воле, мускулы напрягаются, повинуясь душевному порыву, кровь устремляется туда же, куда и тело, горяча его. Слух обостряется, глаза смотрят только вперед; каждый шаг, каждый взгляд и каждый звук голоса обращены только к северу. И человек идет как лунатик сквозь события и сквозь строй людей, и его удивительная сила воли не дает ему сойти с дороги. Но вот препятствия преодолены, преграды обойдены. И тогда невероятное, почти нечеловеческое напряжение сил и духа, которое поддерживается борьбой с трудностями, внезапно спадает; воля вдруг слабнет, как цветок, вынутый из воды...

Едва братья разглядели вдали желтую ленту Параны, поблескивавшую под утренним солнцем, которое уже рас-

сеяло густой туман, как Рамон почувствовал теплый комок, подступивший к горлу, и без сил рухнул на землю.

Возможно, если бы кто-нибудь шепнул ему, что опасность близка, очень близка, он не расслабился бы, не сдал. Накануне отряд из семи преследователей наскочил на место их последнего привала и пошел по следу. Охранники-комитиверос продвигались тихо, еле слышно, в уверенности, что настигнут беглецов. Это знатоки своего дела. Охота за человеком — их профессия, и они чуют добычу издалека, чуют ее запах, дыхание. Упорные, неизбежные, казалось, как сам рок, комитиверос следовали по пятам Рамона и Адольфо. Легкий ветерок возвестил о близости Параны. Надо было отрезать беглецам единственный путь к спасению, не дать уйти от мщения.

В ЗАПАДНЕ

Будто высеченная из камня, игуана замерла под душистым цветком гуэмбé, слегка наклонив приплюснутую голову, словно прислушиваясь к течению времени. Передние лапки и грудь лежат на замшелом камне. Ее яшмовые глаза видят сразу прошлое и будущее: и то, что было, и то, что будет; вчерашний дождь и темную мглу, которая закроет это яркое теплое солнце. Она отдыхает от быстрого бега. Высунула тонкий, острый, красный язычок и на какой-то миг превратилась в страшного дракона, изрыгающего пламя изо рта. Повертевшись, длинный язычок снова спрятался, и игуана опять стала тем, кем ей приходится быть: некрасивой, презренной родственницей двух именитых страшных тварей — ящера и крокодила. Но вот глазки игуаны блеснули, и озаренный солнцем замшелый камень вмиг опустел. Она исчезла бесшумно и молниеносно, скрылась под папоротниковыми листами, которые чуть колышутся от легкого ветерка. Листы продолжают шевелиться и тогда, когда мимо них, совсем неподалеку, проходят усталые люди, топча бурую землю грязными ногами.

46

Однако Адольфо почувствовал приближение погони. Хотя он не замечал никаких явных признаков близкой опасности, в душе вдруг шевельнулось чувство смутной тревоги, инстинкт лесного жителя подсказал: «Беги! Спа-

сайся!» И, словно не человек, а зверь, учуявший охотников, он замер, насторожившись, напрягшись, как перед прыжком. Он бы и прыгнул, и побежал сломя голову, но куда? Сзади сельва, из нее вот-вот выпырнут гончие псы. Впереди, совсем близко, колышется Парана. Река могла бы стать их спасением, но сейчас угрожает гибелью, ибо в этих местах ее не переплыть. Противоположный парагвайский берег, зеленеющий лесами и золотящийся на солнце песчаными отмелями, кажется таким близким, что хочется тронуть рукой. Ослепленный сверканием песка и воды, Адольфо отвел глаза в сторону и вздрогнул от неожиданности. Там, на фоне зелени, у реки копошились люди. Люди с лодкой! Рамон бездыханным трупом лежал на земле, но надежда окрылила Адольфо. Страха и усталости как не бывало. Он не помнил, как вдруг очутился на берегу, не слышал своего истошного крика, превратившегося в мучительный хрип, не чувствовал своих отчаянно махавших рук. Это был не он — это была надежда, светлая, неистребимая, волшебная человеческая надежда, ставшая его голосом и его силой, всегда служащая знаменем и песнью человека, призывом к братской солидарности и залогом конечной победы.

У берега шумной Параны был не мепсу — был зов, была бьющая крыльями птица, было бушующее пламя. Была надежда.

47

— Да, они вовремя ноги унесли...

Растянувшись на дне каноэ, под солнцем, которое уже нещадно палило, братья почти не слушали разговоров своих спасителей. Налегая на весла, высокий, мускулистый пеон лениво говорил:

— И все-таки я им не завидую...

— Я тоже...

Адольфо сонно посматривал на них: наплевать, мол, что будет потом, главное — спастись сейчас. Однако Рамон встрепенулся. Что бы это значило? С трудом оторвал голову от скамейки, оперся на локоть и, разжав запекшиеся губы, едва шевеля языком, пробормотал:

— А что? Хуже-то ведь не будет...

Ему ответили нескоро. Взгляды гребцов скользили по спокойной реке, по скалам уже близкого берега, где гнездились птицы, по отмели оставленного позади берега.

Самый молодой парень вздохнул. Рамон не спускал с них встревоженных глаз, и люди не могли отмолчаться.

— Везде одинаково,— ответил наконец один, не глядя на него и потирая уставшие от весел мозолистые руки.

Беспокойство Рамона внезапно сменилось страхом, сжалось сердце, краска бросилась в лицо. Опершись на локти, он стремительно сел и повернулся к высокому пеону, который своим сходством с покойным Лорепсо внушал ему особую симпатию.

— Нас отправят к Альикс, да?

Опять молчат как проклятые. Но на сей раз не так долго. Наконец-то:

— Нет, едва ли. Сейчас тут люди нужны... Сафра в разгаре, а тареферо не хватает... Если бы не это....

— Хозяин лютый?

— Сволочь, чтоб не сказать... У нас, в Пуэрто-Саэнс-Пенья хорошего не ищи...

— Людей щелкают почем зря. На прошлой неделе в лесу прикончили троих, которых послали в Пуэрто, чтоб они съездили в Посадас за получкой...

— У дона Викториано на совести больше смертей, чем у меня вшей.

Но беглецы уже не слушали. Их мысли были далеко отсюда, далеко от спасителей, от Альики и дона Викториано, у которого на совести было так много смертей. Самое главное то, что их не отправят назад. Едва исчез страх, как их снова стали одолевать сон, голод, боль во всем теле. Головы с глухим стуком снова упали на скамейки, руки и ноги, мокрые, неподвижные, лежали на дне лодки, как большие мертвые рыбины. Солнечный зной, звон москитов, разговоры пеонов убаюкивали смертельно уставших братьев, погружавшихся в глубокий сон.

— Там они, видать, натерпелись, но и здесь им будет не слаще,— донесся вдруг до слуха Рамона чей-то хриплый, ворчливый голос.

Засыпая, Рамон пробормотал, словно в блаженной дреме его осенила счастливая мысль:

— Ну и ладно... А мы снова удерем!

Люди ничего не ответили, изо всех сил ворочая веслами. Немного спустя причалили к скалистому берегу. Четверо пеонов вынесли двух спящих мужчин из лодки и положили под деревом. Отерли свои потные лица цветными платками и, поглядывая на них, продолжали о чем-то говорить. Самый молодой парень опять тяжело вздохнул.

— Мы — члены федерации... [1]

Пароход медленно продвигался по узкому речному фарватеру, Парана была здесь мелководной и порожистой. Но вот «Ибера» сильно качнулся — даже водой ополоснуло палубу — и некоторое время шел быстрее, пока пенистые барашки на гладкой водной поверхности снова не известили о подводных скалах и не заставили сбавить ход. Солнце жарило вовсю.

— Федерации?

— Ну да. Мы — сила, понятно? Когда все, как один, бастуем, ни один пароход с места не двинется...

У пеонов от изумления отвисли челюсти.

— Ох ты...

— Да. И если наш брат рабочий держится друг за друга, хозяин не пикнет. Если все мы бросим работу, куда они, хоть и с полной мошной, сунутся?

Удивительные слова говорил матрос. В тесном, темном трюме менсу переглядывались, шумно выражали свое одобрение.

— Вон как... Гляди-ка!

— А знаете, что мы сделали в Истуэте? Когда стало известно о зверских расправах убийцы Сприто, федерация объявила забастовку...

Глаза людей впились в рассказчика, шеи напряженно вытянулись, шепот стих. Пароход снова качнуло.

— Сприто? — спросил Рамон.

— Ты что, не слыхал?

О Сприто знали все, в Посадасе до сих пор говорили о его кровавых делах.

— Нашли трупы и скелеты более пятидесяти менсу, которых он угробил...

— Aná membuy... Ну и ну...

— Он и управляющий Лопес, тот, которого Живодером зовут...

Люди затаили дыхание. Матрос продолжал:

— Тогда мы сказали: ни одного человека не повезем на лесоразработки! Ни одного! И не повезли. Поднялась такая заваруха! Солдаты шныряли как угорелые; народ устроил демонстрацию в Посадасе. Что там творилось! И так месяца четыре, а потом...

— Перальта-а-а! — прозвучал сверху властный оклик.

[1] Имеется в виду местный профессиональный союз рабочих.

Прервав рассказ на полуслове, матрос шепнул: «Помощник капитана...» — и, ловко вскарабкавшись по лесенке наверх, исчез в светлом проеме.

Несколько минут все сидели молча, но потом снова принялись резаться в карты. Рамон отошел в сторону и задумался. Досадно, что не пришлось услышать того, о чем хотелось узнать побольше. Уже давно его мучили многие вопросы. Такие вопросы, на которые самому не ответить. Но у кого найти ответ? Где? Он и раньше прислушивался к разговорам, цеплялся за какое-нибудь обнадеживающее слово и думал, что нашел наконец то, что ищет. Однако слова обычно пролетали мимо вместе с искрой надежды, а Рамон снова оставался наедине со своими думами. И вот теперь у него в руках уже была какая-то ощутимая нить, хотя и очень тонкая.

— Ага, попался, приятель! — заорал один из картежников, пригнувшись, словно для прыжка.

— Молодец ты молодец, да против овец! — насмешливо ответил другой игрок, хлестнув его карту своей картой.

Грязные, замусоленные, обтрепанные карты с треском хлопались одна на другую в маленьком кружке света, который падал на пол трюма из иллюминатора. В светлый лучик то и дело врывались головы игроков, и на миг из тьмы показывались желтые зубы, припухшие веки, жидкие обвислые усы или сверкающие глаза и обветренные, темные щеки. Бранясь, отплевываясь, прихлебывая капью и азартно вскрикивая, они всецело отдавались игре. В такие минуты пеоны жили полной жизнью, не чувствовали себя забитыми, жалкими, униженными. Они могли ловчить, хитрить, побеждать, испытывать судьбу, напрягая весь свой ум, и даже выигрывать по нескольку монет. Какое-то время они были счастливы, и Рамон не хотел их отвлекать. Но ему стало душно в этом тесном, прокуренном помещении. Он поднялся на палубу, и первым, кто ему встретился, был Перальта.

— Ладно, товарищ, побудь тут немного,— сказал матрос.— Из первого класса все пошли в салон играть в кости. Но смотри, чтоб они тебя не увидели. Им такое не по нраву...— И он махнул рукой на верхнюю палубу, одним жестом уравнивая всех: и капитана, и начальника судовой охраны, и хозяев, и управляющих, и вербовщиков.— Вот они, кровопийцы из Альто-Параны. Одной бомбой накрыть бы их разом...

Перальта удивился, что Рамон отказался от каньи.

— Нет, три дня назад я поклялся больше не пить... Дважды меня пьяного заарканили, как бычка. Хватит.

Перальта полюбопытствовал, как было дело, и Рамон вкратце сообщил ему свои злоключения в Пуэрто-Альике, про стычку с Санта Крусом, про побег.

— Так это ты и есть? А тебе известно, что за твою голову большая цена назначена? В Посадасе все знают... Как же тебе удалось смыться?

Рамон не любил много говорить, но тут он подробно рассказал матросу о том, как они с братом бежали от Альики, доплыли в лодке до Пуэрто-Саэнс-Пенья и стали работать на лесоразработках. Однако через несколько дней Рамон занемог. Видно, сильно простудился под дождем во время блуждания по сельве, да и долгая голодовка сказалась. Он слег и валялся несколько дней в бреду. Пришлось расстаться с Адольфо, продать все свое барахло и чуть ли не в одних бомбачах добираться до Вилья-Эркарнасьон. Там еще пролежал три недели при смерти, по чудом выкарабкался.

— И рванул я опять в Посадас, захотелось забыться, развлечься...

Тут Рамон умолк. Ему вдруг пришло в голову, что на этом самом месте уже не в первый раз прерывались его воспоминания о последнем посещении Посадаса. Все заволакивал сплошной туман.

Из ярко освещенного салона доносились обрывки разговоров, сухой стук катившихся по столу игральных костей и резкий голос, объявлявший ставки:

— Иду еще на два... Пять и три... Ставлю на все.

— Ну а дальше? — допытывался Перальта.

Нет, не вспомнить. Рамону виделись только какие-то отдельные сцены, кружились какие-то женщины перед глазами, слышалась музыка. Больше всего помнилась страшная головная боль после трехдневного пьяного загула. А когда очнулся, то увидел, что опять, неведомо как, очутился на пароходе. На этом самом пароходе. Сопротивляйся не сопротивляйся, горю не поможешь. Влип, как в свое время бедняга Баэс.

— Я тоже, как Баэс, твердил, что никогда туда не вернусь... А очнулся, и вижу: привязан к мачте...— Рамон зло кивнул на бутылку: — И поклялся в рот капли не брать. До смерти. Так и будет. Это я, Морейра, тебе говорю...

Пароход неутомимо шел в ночь. Из-за плотно прикрытой двери салона доносился смех, звон стаканов. На фоне остальных звуков выделялись отрывистые, монотонные реплики игроков.

— Четыре... Накидываю пятьдесят... Два и семь, одиннадцать...

— Я говорю, взорвать бы их всех к чертовой матери,— пробормотал Перальта.

49

— А где эта самая федерация, о которой ты говорил, и что это за штука?

Перальта зашевелил, задвигал большими мозолистыми руками, словно стараясь связать воедино свои мысли. А затем уже нашлись слова.

— Видишь ли, там все совсем по-другому. Ты про Сан-Игнасио слыхал? Нет? А про Санта-Ану или Бомплан? Тоже нет? Так вот слушай. Несколько лет назад там посадили на пробу саженцы йербы. Они принялись. Тогда разбили целую плантацию. Сейчас уже многие хозяйства имеют огромные плантации. Деревья рядами посажены, глядеть любо. И тянутся эти ряды на километры, глазом не окинешь...

Рамону казалось, что он видит йербали, вырастающие из воды за кормой. Плотные зеленые шеренги, не такие, как те рощи, что он находил в лесах, чтобы потом безжалостно вырубать.

— Кроны делаются у них густые, как кустарники, понимаешь? Потому что ухаживают за ними, как за барышнями... Окучивают, пропалывают. А во время сафры ветки режут с толком, чтобы дерево не попортить. Все, как надо...

Сидя возле камбуза, они потягивали мате. Ночь была теплая. Голос матроса, повествующего о федерации рабочих, открывал Рамону словно какие-то новые миры, дикорастущие йербали, совсем не такие, где он работал, мучился и пережил самые тревожные дни в своей жизни. На каждой плантации до миллиона деревьев. Сафра длится три месяца, и большинство тареферо живут не при йербале. Там неопов не убивают, как в дебрях Альто-Параны, секут редко и...

— ...и, значит, живут они хорошо и хозяева не такие сволочи?

Перальта похлопал его легонько по спине, как несмышленыша, задающего наивные вопросы. Хозяева — всюду сволочи. Сто раз, что ли, об этом говорить? Он сам, Доситео Перальта, на собственной шкуре убедился,— где только он горб не ломал? — что эксплуатируют везде зверски. Нет, и на этих плантациях далеко не рай, хотя и не такой ад, как в сельве. Кормят хуже, чем собак, платят так же мало, да еще зачастую вместо денег дают талоны, которые надо в лавке менять на товары. А власти тоже всегда заодно с хозяином. Но самое важное то, что трудовой люд собран в поселках, живут там все вместе и неподалеку от города. Это большое дело, если сравнить с жизнью в сельве, где с людьми творят что хотят. Пеоны могут устраивать большие собрания, обсуждать свои дела, выступать единым фронтом против хозяев, а когда надо, объединиться для борьбы. Так и возникла федерация пеонов.

— Ух и забастовка была недавно в Сан-Игнасио, в хозяйствах Мартина и Андреса Паласиосов... Налетела полиция... Стрельба была. Но ребята не сдавались... Хозяевам пришлось утереться, а тареферо получили прибавку. Теперь им дают реал за арробу вместо восьми сентаво...

Рамон хотел сказать, что многими бессонными ночами он мечтал о чем-то подобном, о рабочем единстве, искал, сам не зная где. Но нужные слова не нашлись, и он только вздохнул:

— Да... Посмотреть бы...

Однако про себя твердо решил при первой же возможности там побывать. Сражаться одному, в одиночку,— толку мало. Ну, можно заставить жрать землю одного-двух капатасов. Но надо заставить жрать землю управляющих, хозяев и капатасов всей Альто-Параны. Если там, в устье реки, рабочий люд может добиться своего — значит, туда и нужно идти. В этой федерации и для него, для Рамона Морейры, должно найтись место. Обязательно найдется.

50

Он стоял, прислонившись к борту и погрузив взор в темно-бурую воду, отливавшую медью в последних отблесках заката. Пароход без жалости вспарывал реку, упорно прокладывая себе дорогу вверх по течению. Река проти-

вилась, взметывая перед носом парохода пенистые волны, брызгами обдававшие палубу. Иные брызги долетали и до Рамона. Над пароходом плыли громады облаков. Тоже будто большие корабли. Белые корабли. Ярко-белые, серо-белые, желто-белые. Но эта белизна была не радостной, а предвещающей бурю. Впереди и справа по борту между рекою и небом, словно вдруг подступивший горизонт, натянулась густая темная сеть. Или огромный неосязаемый занавес. Или призрачные лесные дебри. Эта мутная пелена приближалась все время справа, со стороны парагвайского берега. Пароход внезапно накренился влево, врезавшись наконец в сплошной дождевой заслон, и на него хлынули сверху потоки воды. Крупные капли застучали по брезенту. В миг залило всю верхнюю палубу, с которой вода потоками рушилась вниз. Матросы бросились убирать брезентовые тенты, и в одну минуту их мускулистые тела окатило водой, как из ведра. А унылый парагвайский берег совсем растворился в тумане, скрылся в ливневых струях.

Рамону стало холодно, и он закутался в пончо. К нему подбежал взволнованный Перальта.

— Тебя увидели! — заговорил он прерывающимся голосом.— Берегись, браток, тебя увидели, aña membuy!

— Кто?

— Они, с верхней палубы. Там Альика. Он тебя узнал. Он едет первым классом и увидел тебя! А теперь хочет сцапать...

— Сцапать? Меня? Дорого ему...

— Спускайся вниз, я приду. Иди скорее.

В трюме кое-кто еще играл в карты. Одни мепсу лениво переговаривались, едва шевеля языком, растягивая слова. Другие, забившись в углы, дремали под стук машины, под звон цепей, под шум дождя. Затхлый, смрадный воздух отсека окутывал людей.

Вскоре вернулся Перальта с новостями. Альика раздаст деньги команде. Дал пятьсот песо капитану и не меньше — начальнику охраны. Матросам обещал по сто на человека за то, чтобы помешали Рамону сбежать.

— Живым меня не возьмут,— сказал Рамон. И взглянул на глубокие воды Параны.

— А ему ты нужен живым. Он велел смотреть, чтоб ты не застрелился.

Сон с людей как рукой сняло, мепсу стали прислушиваться к разговору. Они теперь знали, что едут вместе с

Рамоном Морейрой, тем самым смельчаком, который дал жару Санта Крусу и его капатасам в Пуэрто-Альике. На него глядели с восхищением, похлопывали по спине, довольные, что узнали этого человека, и в то же время опасались за него, страшились его участи, от которой никто не в силах его спасти.

— Он сказал, что как только причалим к бразильскому берегу, так тебя и заграбастает. А пока мы на аргентинской стороне, он побаивается руки распускать,— закончил Перальта.

— Ишь ты, живым его хочет, живым...— повторял, покачивая головой, один из игроков в карты.— А, спрашивается, зачем?

— Не знаешь, что ли? Капатасом назначить хочет, не иначе...

Все громко, но невесело рассмеялись. Украдкой поглядывали на Рамона, словно прикидывали, куда обрушатся удары плети и долго ли выдержит зверскую порку это тело, которое капатасы в конце концов вышвырнут в бурлящую, как сегодня, или тихо несущую свои воды большую реку. Люди смотрели на него так, словно он уже труп, неизбежная добыча рыб или лесных хищников, еще одно свидетельство мощи хозяев, будущий наглядный урок всем бунтарям Альто-Параны. Но Рамон хотел жить, его раздражало сочувствие.

— Неужто ничего нельзя сделать? — спросил он матроса, рассказавшего ему о федерации. Голос звучал спокойно, но в глазах светился жгучий вопрос.

Перальта раздумывал.

— Можно, конечно, рискнуть... Ты плавать умеешь?

Рамон энергично кивнул головой.

— Значит, умеешь...— Перальта пока не мог сказать ничего определенного.— В общем, так: людей сейчас раззадорили деньги. Дело трудное. Но посмотрим...

После ухода матроса пеоны растянулись на своих пончо и одеялах. Однако людям не спалось, хотелось выразить смертнику свою мужскую солидарность. Но они не знали, как это сделать, слова не шли с языка. Лучше действовать молча, как обычно. И один угостил Рамона сигаретой, успев пожать ему руку. Другой протянул бутылку с каньей. Не пьет? Как так не пьет? Ведь это больше всего нужно приговоренному к пыткам и смерти. Хотя бы чтобы запастись мужеством... Но у Рамона хватало мужества, и он хотел жить. И Рамон уснул первым, немало

удивив всех остальных своим громким храпом. Он хотел жить.

Дождь шумел на палубе, остервенело стегал борта, барабанил по трубе и бочонкам, связанным толстыми веревками. Не слишком быстро, но упрямо пароход шел вверх по реке, легко расправляясь с водой под килем и с трудом выдерживая натиск воды сверху. Все наружные шумы глохли в трюме, где среди ящиков с консервами и мешков с рисом и сахаром вповалку спали мепсу, не разлучаясь со своим страхом и своей беспросветной нищетой.

51

На пароходе что-то изменилось, хотя с виду все оставалось по-прежнему. Матросы выполняли свою повседневную тяжкую работу. Пассажиры ели и спали в положенное время. В рулевом помещении, как всегда, сидел лоцман, устремив глаза на коварный водный путь и сжимая руками штурвал. Из салона первого класса все так же слышались взрывы хохота, пьяные голоса, обрывки анекдотов и возгласы игроков. Однако мирному плаванию пришел конец, и, видно, уже ничто не могло восстановить спокойствие. До тех пор пока не завершится драма, в которой участвовали зрители, палачи и жертва. Никто ни о чем не говорил, но все думали, что не спастись этому мепсу, который то молча сидел в углу трюма, то ходил по узкой площадке на носу парохода, с бакборта к штирборту и обратно: три шага налево, три шага направо. Вместе с ним на пароходе ехала смерть. Впрочем, смерть была обычным делом в Альто-Паране. Здесь привыкли к охоте на человека, на это несчастное, загнанное существо, которому отпускались считанные дни или часы дышать воздухом свободы. Рамон знал, что за ним постоянно следят, ходят по пятам, примечают каждый жест и каждый взгляд. Но это страшным образом лишь прибавляло ему силы. Безликий и презренный мепсу вдруг стал предметом общего внимания, и от этого он вырос в собственных глазах, ощутил еще большую уверенность в себе.

Дождь перестал, но темные тучи не рассеялись. Пароход снова окутали сумерки. Кто-то приказал Рамону вернуться в трюм. Он с удивлением заметил, что окрик прозвучал не так резко, как обычно. Жалеют или уважают? Рамон стиснул зубы; в нем поднималась ненависть, гото-

вая хлынуть через край, затопить остальные чувства. Он страшно ненавидел своих врагов, но неимоверным усилием воли не давал ненависти вырваться наружу. Это так же опасно, как хватить целую бутылку каньи. Нужна трезвая голова и твердая рука. Речь шла не только о спасении жизни. Рамону страстно хотелось еще раз показать врагам, как может над ними посмеяться простой пеон. Картина была ясна. Его желали заставить платить по счету, которого он не признавал. Однажды поутру он едва не кинулся в реку, невзирая на опасность. Но риск был слишком велик, враги не дремали, могли легко пристрелить. И Рамон предпочел выжидать.

Те тоже выжидали.

52

Он лежит на спине. Над ним злорадно щерится Альика с плетью в руке. А затем начинает стегать лежачего, что-то приговаривая. Рамон догадывается, что на него льется ругань, но не может разобрать ни слова. Просто удивительно. Лицо Альики близко, совсем рядом, Рамон слышит его дыхание, чувствует боль от ударов, но не может понять ни слова. А надо понять, надо обязательно понять! Рамон приподнялся на локте и открыл глаза. Вокруг было темно, кто-то сильно тормошил его и быстро шептал:

— Да вставай ты! Скорей! Если сейчас не успеешь — пропал!

Рамон вскочил на ноги. Перальта все еще толкал его в бок, но сон уже слетел с него. Матрос сунул ему в руку какую-то тряпку.

— Пошли! Обвяжи голову платком, чтобы не узнали. Идем скорей!

Они вышли из трюма. Еще не рассвело. Дул холодный ветерок. Матросы бродили как одурелые, словно не очнувшись от сна. Тут только Рамон понял, что пароход встал на якорь. Слышался замирающий стук машины: «Тра-тра-тра...» Перальта объяснил ему: они находятся в Пуэрто-Капалехасе у аргентинского берега, здесь высадят нескольких пеонов и погрузят дрова. Неожиданно представился счастливый случай. Надо сейчас же, не дожидаясь, пока спустят трап, прыгнуть в воду вместе с теми матросами, которых отрядили грузить дрова. Скоро наведут трап, начальник охраны встанет у выхода, и тогда

уже не проскочить. А пока, в темноте, с этим платком на голове, его не задержат. Да и трое других матросов посвящены в дело и готовы ему помочь.

Рамон не успел еще осмотреться, как Перальта наспех обнял его и скрылся. Рядом с Рамоном стояло пятеро мужчин. Между ними и почти невидимой во тьме землей поблескивала черная пасть реки. Двое прыгнули в воду. Рамон наудачу ринулся за ними. Оказался по пояс в прибрежной тине, но быстро выбрался на сушу и вслед за другими стал карабкаться по грубо сколоченной бревенчатой лестнице на самый верх отвесного берега. Все оказалось так просто, что не верилось.

Однако он еще не добрался доверху, как вдруг на пароходе раздались крики. Оберпувшись, Рамон увидел, что один из пеонов, которых должны были здесь высадить, упирался; охранники тащили его, а начальник орал на них. У Рамона отлегло от сердца: пеоны нарочно затеяли скандал, чтобы отвлечь внимание от беглеца. Один из матросов, пока остальные готовили вязанки дров, сунул оторопевшему Рамону нож и быстро заговорил:

— Беги вон по той тропке. Скоро рассветет, увидишь перекресток. Сверни направо, к кедровому лесу. Засветло доберешься до лесного хозяйства...

Последние слова растворились в тумане, матрос уже спускался вниз, к реке. Рамон бесшумно, по-кошачьи, скользнул в заросли. Сердце колотилось в груди, будто хотело вырваться и лететь вперед, указывая путь. Он несся как на крыльях, чудом не натыкаясь на деревья, которые тихо перешептывались и покачивали ветвями, словно стараясь спрятать беглеца от бледного света занимавшейся зари. Два или три раза Рамон упал, но ему было не до крови, струившейся из разбитой губы, не до ссадин на колепях, не до своих исцарапанных рук, которые отчаянно сражались с густой, колючей зеленью. Он хотел жить, а бегство означало жизнь. Среди теней, исчезавших с первыми лучами солнца, Рамон был самой упрямой тенью, которая, не желая исчезнуть, бежала и бежала...

53

— Н-но... Пошел!..

С силой выдернув топор, глубоко вонзившийся в дерево петереби, Рамон Морейра опустил его на землю и оперся о длинную рукоятку. Крики неслись откуда-то справа.

Видимо, с большака, проходившего неподалеку. Рамон отер лоб большим красным платком. Устал. После каждого удара топором кажется, что уже больше не поднять отяжелевших рук. Но руки, будто сами собой, вновь поднимаются,— откуда только сила берется? — замахиваются на своего молчаливого недруга и наносят страшный удар. Еще раз и еще. Вздувшиеся от напряжения жилы, пересекая бугры мускулов, устремляются от плеч вниз, к кистям, большим, жилистым, потным. Стертые до крови, покрытые водяными пузырями ладони похожи на обрывки непонятной географической карты, изрезанной, кроме того, сетью грязных канальцев. Его внимание снова привлек окрик:

— Н-но... Пошел!..

На тыльной стороне руки, от мизинца к запястью, широко рассыпались черные зудящие точки: укусы здешних москитов не скоро проходят. Вот еще один впился в кожу. Рамон раздавил его заскорузлым указательным пальцем и глубоко вздохнул. Поднял было топор, но опять опустил. Жарко, нечем дышать. Не воздух, а влажная вата. Солнце жгло голову сквозь сомбреро, раскаленными клещами сжимало его обнаженный торс. Густые тропические заросли надвигались со всех сторон, словно тоже грозя задушить. Огромная голубая бабочка села на тонкий лист папоротника, согнувшийся под нею. Рамон рассеянно взглянул на нее, но она уже вспорхнула и скрылась в зеленых тайниках сельвы.

— Пошел... Чируса! Багуала!.. Н-но!

В ста метрах от него показалась большая повозка. Ее едва тащили восемь или десять мулов. Возчик Гумерсиндо, щелкнув еще раз бичом, спрыгнул на землю. На нем была красная безрукавка, на шее — грязный платок, на голове — старая шапка. Темное морщинистое лицо оживляли светлые, седые усы. С ним был помощник, хилый мальчишка-индеец лет десяти в истрепанной рубахе и рваных бомбачах. Рамон с грустью смотрел на его впалую грудь и думал: не иначе как чахотка. Если выживет, единственное счастье у него впереди,— быть таким же горемыкой-менсу, как сейчас. Может, даже лучше, если какой-нибудь мул лягнет его и убьет наповал, как недавно одного такого мальчишку?

— Чируса! Стой, чтоб тебя... Anara é! [1]

---

[1] Сукина дочь! *(гуарани.)*

Голос мальчонки-индейца был хриплым, надсадным. Казалось, в груди у него рвались легкие, в горле бурлила мокрота, с губ слетали брызги невидимой крови.

Вот мальчик и Гумерсиндо наклонились над лежащим древесным стволом. Его надо было погрузить на повозку. «Тонны четыре весу»,— подумал Рамон. Подошли еще двое мужчин на помощь. Руки судорожно вцепились в дерево, глаза скосились на возчика, пока наконец из глотки Гумерсиндо не вырвался натужный крик, подхваченный остальными:

— Раз, два...

Мускулы напряглись стальными пружинами, вздулись, шишками выперли наружу.

— ...взяли!

К повозке прислонили несколько поленьев, по которым надо было вкатить бревно. Подтащив его к этому помосту, мужчины перевели дух. Панталеон ругался на гуарани, отирая с лица пот выгоревшим беретом. За поясом у него торчал длинный нож с черной ручкой, а с шеи свисал на грязном шнурке медальон. Вот он опять нагнулся над бревном рядом с остальными. Четыре тела напряглись что есть сил, и ствол, поддавшись, начал медленно вползать на повозку. Пеоны подбадривали друг друга хриплыми возгласами и, поднатужившись, опять вскрикнули разом:

— Взя-ли!..

Рамон поплевал на ладони, энергично растер их, и топор снова ожил в его руках, вгрызаясь в сердцевину дерева. Удары звучали жестко и глухо, щепки так и летели, порой попадая в грудь, в лицо. Топор медленно, но упорно прорубал себе путь, точно, удар за ударом, вонзался в зарубку, а Рамон думал свою думу. Через четверть часа петереби рухнет на землю. Еще удар... Затем надо обрубить ветви и очистить ствол. Еще удар... И на счету прибавятся семь аргентинских песо. Сколько же у него сейчас денег? Он обосновался в Пуэрто-Агирре три месяца назад после того, как сбежал от Альики. Но здесь ему не хотелось долго задерживаться — тянуло туда, на новые плантации йербы. Однако нужно накопить денег на проезд и приличную одежду. Еще удар... Но сколько бы он ни спрашивал о своих деньгах, точного ответа не получал. Рамон яростно ухватился за рукоятку топора и... Еще удар... Подрубленное под корень дерево словно понимало, что всякое сопротивление напрасно. Рамон, неистово ору-

дуя топором, уже собирался нанести последний удар, когда его внимание привлекли чьи-то взволнованные голоса. Они звучали совсем близко, с того места, где работал Фрутос. Один голос явно принадлежал Фрутосу, а другой? Рамон бросил топор и, раздвигая колючие заросли и гибкие стебли тростника, росшего здесь в изобилии, вышел на узкую тропку. Вскоре он подошел к небольшой полянке, поперек которой лежало огромное свалепное дерево. По одну его сторону стоял подрядчик Фелисио, по другую — Фрутос, опершись на топор,— лесоруб принялся было очищать кору с великолепного ствола, но помешал подрядчик. Завязался спор.

— Как обтесываешь? Древесину портишь! Ни к черту работа! — орал Фелисио.— Вычту с тебя за брак!

— Зачем же вычитать. Ты погляди,— просил лесоруб.— В одном только месте порез поглубже...

— Неважно,— отрезал тот.

— Да ты пойми, ше-рубиша, когда я его валил, оно и попортилось немного. В одном месте, пальца на два, не больше...

— Нет. Ты мне сказки не рассказывай. А штраф заплатишь... Ты ведь еще и бунтовщик... Я с тобой расправлюсь, сволочь!

— Работал я честно, а ты хочешь меня обокрасть... Бандит ты, Фелисио!

— Ах так, паразит! Вот тебе!..

Подрядчик подскочил к Фрутосу. Сильный удар хлыстом обжег голую грудь лесоруба, второй пришелся по лицу — брызнула кровь. Фрутос схватился за нож, но третий ловкий удар по кисти заставил его выпустить из рук оружие.

— Вот тебе! Вот тебе!

Фрутос кинулся к тропке, где стоял Рамон, и как раненый олень заметался в зарослях крапивы и тростника, стараясь уклониться от ударов. Фелисио не отставал от него ни на шаг и, бросив плетку, выхватил револьвер. Вместе с Рамоном Морейрой на крики подошли и другие лесорубы. Все они стали свидетелями страшного конца разыгравшейся драмы. Фрутос выскочил на то место, где только что работал Рамон, и нагнулся, чтобы поднять валявшийся топор.

— Брось... или застрелю! — гаркнул Фелисио.

И тут же раздался треск,— это падало, таща за собой сеть лиан и орхидей, подрубленное Рамоном дерево пете-

реби, будто окрик Фелисио был тем последним ударом, который его свалил. Топор лесоруба искрошил его животворную, крепкую, душистую сердцевину, и вот, охнув напоследок, словно прощаясь с лесными собратьями, исполин упал на землю.

— Аа-а! — эхом отозвался стон человека, и тот, кто секунду назад был Селедонио Фрутосом, теперь бесформенной грудой лежал под деревом.

Капатас обернулся и увидал себя в окружении окаменевших от ужаса мепсу. Еще не соображая, что делать, он инстинктивно прикрикнул на них:

— А вы... что не работаете?! — и шагнул к ним.

Но Рамон тоже шагнул к нему навстречу. Остальные последовали за Рамоном. Никто из неопов не произнес ни слова, но их глаза сверкали такой холодной решимостью, что Фелисио невольно попятился, прикрываясь револьвером. Неопы медленно наступали.

— Аа-а...— уже едва слышно стонал умирающий.

И люди должны были быть свидетелями кошмарного зрелища,— видеть, слышать. Это становилось невыносимым. Рамону казалось, что он, Рамон, уже умер, а его тело само собой прет на капатаса, прямо на дуло револьвера.

Фелисио сообразил, что револьвер его не спасет. Если они подойдут еще ближе, удастся убить одного или двоих, но остальные разорвут его на части. Капатас повернулся к людям спиной и бросился бежать. Сначала он несся сломя голову по тропинке, затем вдруг свернул на какую-то лесную прогалину. Ему виделись лица мепсу, он чувствовал их дыхание на своем затылке. Совсем потеряв самообладание, капатас кинулся напролом в глухие заросли,— колючки рвали в клочья его одежду, дикая крапива стегала по лицу. Струйки крови змеились по щекам, терялись в черной бороде. Выпучив глаза, с трудом дыша и забыв о мачете, он ломился вперед, лез на стены ветвей и лиан, стараясь вырваться из зеленой западни. Когда он на минуту остановился, ему послышалось — ясно и отчетливо,— как стонет Фрутос:

— Аа-а...

Капатас, совсем ошалев, снова бросился бежать, пока наконец не споткнулся о камень и не грохнулся ничком на землю. Он угодил головой прямо в ручей и подставил лицо под струю, чтобы не слышать всепроникающего стона. Но бившая в уши вода не заглушила предсмертную

жалобу раздавленного человека, сначала слабую, тихую, потом зазвеневшую громче и, наконец, загремевшую нестихаемым громом:

— Аа-аа-а!..

Обезумев, капатас заткнул себе уши и покатился по красной грязи, мокрый, дрожащий. Ночь наконец опустилась на затихшее, неподвижное тело.

54

Люди не собирались преследовать капатаса. Они долго стояли вокруг упавшего зеленого гиганта, который подмял под себя человека. Фрутоса уже не было слышно.

— Бедный брат наш...— пробормотал Рамон.

Но шевелить языком было очень трудно, а еще трудней — произносить слова, и он умолк. Ему не верилось, что эта бесформенная кровавая масса, прикрытая ветвями,— его друг Фрутос. Когда Фрутос упал, с его ноги соскочила альпаргата. Вон она там валяется, парусиновая, рваная, и больше напоминает о погибшем друге, чем это неузнаваемо изуродованное тело. Странно. Всего лишь несколько минут назад Рамон слышал ликующий голос Фрутоса, радостный клич лесоруба-победителя над телом побежденного дерева. Теперь победитель покоится здесь, побежденный, подрубленный под корень. А к гибели его привели удары хлыста, эти достигшие своей цели удары Фелисио. Рамон прикрыл лицо рукой, словно спасаясь от них. И в самом деле — у него горели щеки, болели грудь и спина, будто сам он был тоже избит. Он понял, что, пока не отомстит за Фрутоса, его будут жечь, терзать побои капатаса.

Сумерки как-то внезапно опустились на людей. Пеоны сели под дерево неподалеку от погибшего товарища. Один разжег огонь, другой принес котелок с водой. Скоро мате стал переходить из рук в руки. Был молчаливый уговор не говорить о происшедшем на их глазах несчастье. Кто-то стал тихо рассказывать о кровопийцах-лобисонах, его сосед вспомнил про случай с тареферо, умершем от неведомой болезни после того, как он нарушил клятву, которую дал Каа-Яри. Однако Рамон никого и ничего не слышал. Перед ним так и маячила, как живая, фигура убитого лесоруба. Из пляшущего пламени костра ему

улыбалось круглое лицо неунывающего бразильца Фрутоса. Сидя бок о бок с товарищами, потягивая мате из одного с ними сосуда, Рамон, казалось, внимательно слушает россказни гринго[1]. Но в действительности память вела его к тем дням, когда он встретил Фрутоса. Так и чувствовалась на плече рука друга, так и слышался его веселый голос:

Нам, борцам за справедливость,
не в болоте полоскаться,
а слезою белой розы,
кровью сердца умываться...

Весельчак и говорун был этот бразилец. Рамон работал уже месяца полтора в Пуэрто-Агирре, когда там появился Фрутос — с узелком в руках, с гитарой за спиной и большим револьвером за поясом. Рассказывал он удивительные вещи. В Бразилии — восстание. Сам он крепко сражался, ко всему привык: и наступать и отступать.

— Как попал в первый бой, ну, думаю, надо деру давать. А ноги от страха к земле приросли... Пули свищут вокруг... Как видите — жив и здоров; знать, не берет меня смерть. И с тех пор ничего мне не страшно.

А еще принес он с собой потрясающую весть — о пожаре в Пуэрто-Альике. Новость быстро распространилась и так взволновала менсу, что капатасы встревожились и стали искать смутьяна. Фрутоса никто не выдал, но все же подозрение пало на бразильца, ибо он распевал задористый куплет, популярный у него на родине и бивший не в бровь, а в глаз здешним капатасам и хозяевам:

Распроклятым этим гадам
не в водичке полоскаться,
а в картечи да снарядах,
в наших пулях умываться.

По ночам, когда гасли последние огни в лагере лесорубов, или в редкие минуты дневного отдыха, или перед тем, как ободрить товарищей своими песнями, которые он пел при каждом удобном случае, словно они сами рвались из-под струн его гитары, Фрутос рассказывал пеонам о своих недавних похождениях. Рамон всегда слушал его с таким вниманием и всякий раз так переживал рассказы

---

[1] Гринго — прозвище, даваемое в Латинской Америке иностранцам; в Аргентине чаще всего — итальянцам.

бразильца, что потом ему казалось, будто сам он тоже участвовал в победном марше «колонны» [1].

Восстание вспыхнуло в Сан-Пауло и, как пожар в сухостое, сразу охватило всю «страну кофе». Фрутос работал в ту пору в йербалях компании «Матте Ларангейра» в Мато-Гроссо. Он сбежал оттуда с тремя товарищами и присоединился к повстанцам. Ему не была известна их революционная программа, зато он хорошо знал, чего сам хочет: сражаться с хозяевами йербалей, с помещиками-фазендейро, с властями, которые покрывают все их злодеяния. Вместе с отрядами Престеса Фрутос вошел в Катандувас и в Мария-Прето. Но повстанцев было немного, провизии и оружия не хватало. Когда же отряды соединились в устье Игуасу, то оказалось, что они — около двух тысяч людей — окружены десятью тысячами солдат, до зубов вооруженных и сытых.

— Мы сутками не спали, бородой обросли, рубахи наши от дождя не просыхали да и животы подвело... Но и солдат косили из пулеметов почем зря...

Вырваться из окружения было почти невозможно. Правительственные войска, солдаты-наемники фазендейро все теснее сжимали кольцо. Но команданте Престес вливал в бойцов бодрость, и люди так верили в него, что, казалось, могли выдержать натиск и стотысячной армии и даже переправиться через бешеные водопады Гуайры. У Престеса был свой план, он не собирался сдаваться. Отряды с боями отступали к Пуэрто-Мендесу. В сражении за мост через реку Сан-Франсиско, недалеко от Гуайры, Фрутос был ранен. Но в «колонне Престеса» на легкие пулевые ранения и не глядели. На счету был каждый воин. И Фрутос вместе со всеми продолжал трудный боевой поход, участвовал в боях за дорогу Сан-Франсиско — Каскавель и за Пуэрто-Артаса, где находились владения Альвики. Сам Альвика удрал с приближением повстанческих отрядов. Санта Крус тоже хотел скрыться, но по дороге в порт его настигла страшная смерть от руки возчика Пириса, девятилетнюю дочку которого он изнасиловал. Пирис его обезглавил, а труп в мешке из-под йербы бросил на дорогу, по которой прошли мулы, запряженные

---

[1] Имеется в виду так называемая «колонна Престеса», отряд бразильских повстанцев, возглавлявшийся Луисом Карлосом Престесом (ныне генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Бразилии).

в повозки с освобожденными менсу. В присутствии Престеса были изодраны в клочья кабальные расчетные книжки и фальшивые бухгалтерские книги, где кредит менсу всегда превышал дебет. Народный гнев не оставил камня на камне от хозяйства Альики,— был снесен дом главной администрации, разбиты цепи, колодки и другие орудия пыток. А потом подожгли и склады готовой йербы. Ввысь поднялось мощное яростное пламя, словно стремясь очистить сельву от грязи и позора. Восставшим менсу поначалу не верилось, что настал час освобождения и справедливость восторжествовала наконец-то! «Все это казалось какой-то сказкой».

«Колонна Престеса», по пятам которой шел противник, достигла Пуэрто-Мендеса. Когда правительственные войска уже полагали, что ловушка захлопнута, повстанцы сумели перебраться в Парагвай. Но Фрутос, раненный в бедро, не смог следовать за ними. Отстав от своих и едва не попав в руки врага, он отлежался в сельве. Затем почью переплыл на аргентинский берег, не бросив своей гитары, не утратив ни бодрости, ни веселья. И еще более боевой и воинственный, чем прежде:

...нам, борцам за справедливость,
не в болоте полоскаться...

Да, Фрутос здесь, но обязательно вернется на родину. Он — боец «колонны Престеса», а Престес непременно возвратится в Бразилию, как обещал: слово революционера свято. И Фрутос ждал, когда можно будет вернуться на родину с оружием в руках и снова пойти против хозяев. Между ним и Рамоном сразу же завязалась крепкая дружба, спаянная огнем пожара в Пуэрто-Альике. Фрутос говорил:

— Пойдем с нами. То, что мы сделали в Пуэрто-Артасе, сделаем во всей Бразилии...

У Рамона были другие планы. Он хотел спуститься вниз по Паране до плантаций йербы, узнать, что такое федерация и организованная борьба менсу. Но в конце концов согласился идти вместе с другом. А вот теперь Фрутос погиб, раздавлен, вмят в красную землю, облеплен муравьями, прикрыт этими странными цветами с дурманящим запахом и больше никогда не встанет, не зашагает вместе с «колонной Престеса».

— Роура? — услышал Рамон в эту минуту голос Бернабе.— Тот, который вербует для «Матте»?.. Он тебе та-

кой счет сочинит, что рот разинешь... Погладь его жену по заднице — он слова не скажет, только тут же пять лишних песо долгу припишет...

Пеоны говорили о вербовщиках: о Фаринье, о Хуане Чемесе и Золотом Мигеле, на пароходе которого «Надежда» их столько раз насильно затаскивали сюда; о Хададе, о Роуре и об Омере, который на службе у Барта так разжился деньгами, что заимел плантации йербы, которые купил на имя своей любовницы; и еще о многих других, собиравших богатый урожай на Бахада-Вьехе. Пеоны их отлично знали, ибо каждое это имя служило вехой на пути несчастий.

Уставившись на огонь, лизавший сухие дрова, Рамон Морейра углубился в раздумья. Язычки пламени то взметывались вверх, причудливо озаряя толстогубое лицо мулата до Рего и выхватывая из тьмы лицо Бернабе, то притухали, бросая тень на узловатые пальцы гринго. Потом снова вспыхивали, едва не касаясь лба Рамона, стреляя угольками. Он чувствовал быстрые ожоги. Как удары плетки Фелисио по голым плечам Фрутоса. Со злостью отирал лицо. Не помогало. Ожоги продолжали гореть.

Всю ночь до рассвета люди не смыкали глаз подле тела убитого товарища и коротали часы, рассказывая страшные истории о менсу. Гринго все время возвращался к гибели своего друга Лауреано Корралеса, который недавно пытался сбежать из Пуэрто-Британия. В ушах у него до сих пор звучал нескончаемый жуткий вой комитиверо — охотников за людьми, вой, которым они стращали беглецов:

— Эеререкo-o-o!..

Но Корралес бежал по лесу, не давая страху связать себя по рукам и ногам. Вдруг рядом шмыгнула чья-то темная фигура, и он одним ударом мачете раскроил ей череп, думая, что рядом — комитиверо. А оказалось, что это — один из тех менсу, кто бежал вместе с ним. Вот как может свести с ума дьявольский вой. Комитиверо знают свое дело. И Корралес сплоховал, не смог уйти. Они окружили его и расстреляли в упор. Он упал навзничь, устремив в небо широко раскрытые глаза.

— А лихой был парень! Врукопашную с ним схватиться никто не посмел бы...

Однако Корралес был мертв, а мертвецы неопасны. Похоронили его там же, в сельве, едва прикрыв землицей. Но управляющий велел привезти труп, чтобы «душу свою

потешить», как сказал кто-то из пеонов. Снова поехали в лес за телом, пролежавшим там уже три дня, вырыли и выставили его на устрашение всем менсу. А потом закопали в той могиле, которую управляющий велел приготовить еще до того, как за Корралесом снарядили погоню...

Утренняя прохлада освежила усталые головы, окропила росой листья и траву. А Рамону все еще слышался задорный голос Фрутоса, напевающего свою мятежную песенку:

Распроклятым этим гадам
не в водичке полоскаться...

Верно. Иные пятна надо кровью отмывать. Только кровью.

55

...и тогда собрал я товарищей и мы пошли жаловаться хозяину, но навстречу нам вышел управляющий в блестящих сапогах, с револьвером за поясом. Стоит, и ни с места, как гнедой конь у яслей, и смотрит на нас. Тогда я говорю ему: мол, рабочий день тут не такой, какой установлен в правилах департамента труда. А он как взъярится да как заорет на меня: «Здесь мы — закон, а не правила». А я ему отвечаю: «Работать больше не буду и ухожу; вы же можете травить меня, ведь вам не впервой убивать людей». Повернулся и пошел себе в сельву...

Из истории моего
друга Серапио Барейро

К полудню, когда солнце палило уже вовсю, пришел другой капатас с вооруженными подручными. Фелисио, наверное, успел сообщить о случившемся, и там, видимо, думали, что лесорубы подняли бунт. Может быть, даже хотели этого, чтобы устроить кровавую резню в назидание другим. Но люди понимали, что они тут заперты, как в клети, и бунтовать бесполезно. Получив приказ приступить к работе, менсу, голодные, неспавшие, снова взялись за топоры и вступили в бой с гуабиробами и лапачо. За спиной каждого стоял надсмотрщик с винчестером. Только к вечеру лесорубам позволили вернуться в хибарку, крытую пальмовым листом, стоявшую в километре от лесосеки, где они ночевали на ворохе сухих листьев. Через

две недели лесорубы покинут это место и соорудят другое такое же ранчо где-нибудь в сельве. Словно какие-то никому неведомые кочевники или подневольные первооткрыватели, идут они по лесу, уничтожая его несметные богатства и ничего не давая взамен. Их жалкие лачужки служат дорожными знаками, вехами на разрушительном пути сквозь девственные дебри. Однажды они снова сюда вернутся, но дождь и солнце уже сгноят пальмовую кровлю, спрячут в зелени столбы, и люди ни о чем не вспомнят. Только сельва, которая ничего не забывает, на долгие времена сохранит глубокие шрамы от топора человека — обрубки искалеченных деревьев, которым не поможет ничья врачующая рука. Сельва ждет дня возмездия.

Вторую ночь не спал Рамон. Не мог не думать о Фрутосе, об останках Фрутоса. На следующий день ему удалось подкрасться к упавшему петереби. Под стволом виднелось раздавленное тело. Рядом стоял на страже охранник. Лишь на третий день им велели поднять гигантский ствол. Муравьи уже расправились с трупом, оставив почти чистые кости. Мансу вырыли широкую яму и лопатой сгребли туда останки лесоруба. Ни Рамон и никто другой не осмелился просить гроб для товарища, опасаясь жестокой расправы. В лесном хозяйстве было много всякого теса. Огромные штабеля высились на берегу Параны. По Игуасу и Паране каждые две недели спускались большие плоты из тысяч и тысяч бревен. Однако для погибшего мансу не нашлось ни полдюжины двухметровых досок, ни даже простого ящика, чтобы хоть на время уберечь его кости от тления. Фрутос жил тем, что валил деревья.

И теперь лишь корни молчаливых великанов охраняли его покой.

Рамон вернулся ночью к тому месту, где погребли Фрутоса. Соорудил крест из двух палок и вместо обычного белого лоскута, который оставляют на могилах в Альто-Паране, прикрепил к кресту свой красный шейный платок. Только после этого он смог уснуть, бросившись на свое ложе из сухой листвы.

56

Без разрешения капатаса Рамон отправился в центральное хозяйство. Фрутос умер, и ничто более не удерживало Рамона в Альто-Паране. Он решил взять расчет и с первым же попутным пароходом спуститься вниз по реке, туда, к плантациям йербы. Если и не дадут расчета, он все равно здесь не останется.

Преодолев с десяток километров тяжелого пути, Рамон увидел наконец крышу здания администрации. Чтобы дойти до цели, оставалось обогнуть невысокий холм, где стоял небольшой домик, красная крыша которого неестественно радостным, веселым пятном выделялась на суровом желто-зеленом фоне. Рамон прошел уже мимо дома, когда услышал за спиной резкий призывный свист. Он обернулся и подошел к веранде. Белобрысый мужчина с большими темными кругами под глазами подзывал его на странно, не по здешнему звучавшем испанском языке. Грузное тело нетвердо стояло на ногах, левая рука искала спинку плетеного кресла, а в правой поблескивал револьвер, то и дело дрыгавший дулом туда-сюда. Вот дуло шатнулось в сторону людей, испуганно жавшихся к стене. Там были две женщины и трое или четверо мужчин. Еще один валялся на полу, не то пьяный, не то раненый.

— Иди сюда, грязный пеон... Сволочь!..

Рамону волей-неволей пришлось принять это приглашение под дулом плясавшего револьвера. Он догадался, что это и есть тот самый сеньор Хааг, о котором рассказывали столько разных историй. В эту минуту иностранец повернулся к одному из мужчин у стенки:

— Ну, пей, тебе говорят...

— Ой!.. Сеньор Хааг...

— Молчать! Пей или...

Револьвер нацелился на человека, который с неохотой поднес к губам бутылку виски. Хотел было опустить ее,

но револьвер уперся ему прямо в грудь, и пришлось снова припасть к горлышку.

(Там, в далекой Германии, везде точность, порядок. А здесь, в Америке,— хаос, неразбериха, грязь. Что люди, что природа — один черт. Сеньор Хааг вздыхал и топил свои горести в виски самого высшего качества. Там, в аккуратной белокурой стране, ровными цветущими квадратами красуются сады и огороды. А здесь пугают и гнетут эти необозримые равнины, непролазные леса. Нет, надо, надо скорее уходить отсюда. Но фирма платит сеньору Хаагу десять тысяч песо в год, не считая прибылей, как акционеру этой компании. Потому и приходится жертвовать собой, сидеть в этом Пуэрто-Агирре, тупея от адского одиночества. И сеньор Хааг сидел здесь, жестоко вымещая на подчиненных свое зло. Так и сложились о нем легенды, приводившие в трепет даже видавших виды первопроходцев Альто-Параны.)

— Пей!

— Но, хозяин!

— Пей, говорю, свинья!

(Сеньор Хааг не слишком вникал в дела предприятия. У него был опытный помощник, Исмаэль Лобато. Работники приходили, работали и уходили. Бывало, кто-нибудь из них вдруг исчезал и его останки потом обнаруживались в сельве. Ну, да это были заботы Лобато. А он, сеньор Хааг, несчастный пропойца, вздыхал по своей возлюбленной Германии в домике с красной крышей и с двумя ванными комнатами, облицованными белой плиткой. Из окон домика виднелась полноводная зеленая река Игуасу. Но он неделями не глядел в окна. Ему хотелось забыться, спрятаться от жаркого дыхания сельвы, которая подбиралась все ближе, окутывая ароматом тропиков и буйной зеленью и красную крышу, и обе ванные комнаты с белыми плитками.)

Пеон выпил бутылку виски почти до дна. Его глаза, вылезшие из орбит, вдруг бешено завращались, и он рухнул наземь. Сеньор Хааг презрительно фыркнул:

— Фи... Мразь, хлюпики эти креолы...— Скосил глаза на Рамона и захихикал в предвкушении нового удовольствия.— Кхэ-хэ... А теперь ты... Давай!

Мепсу не тронулся с места. Прищурив глаза, в упор глядел на хозяина.

(В бунгало у Хаага хранились огромные запасы отличного шампанского и всякой заморской снеди. Силина и но-

стальгии немцу тоже хватало. Чтобы отделаться от того и другого, он собирал у себя управляющих и служащих ближайших лесосек и йербалей, и стены дома становились свидетелями диких оргий. Пароход Михановича, специально зафрахтованный Хаагом и его друзьями для личных целей, привозил белокожих француженок и смуглых красавиц из Буэнос-Айреса. Но поскольку сеньор Хааг, увы, был не в силах наслаждаться дорогостоящими блондинками и брюнетками из дальних городов, он тешил себя волнующими сценами. Так, например, однажды он толкнул в объятия многоопытной матроны из столичного борделя своего двенадцатилетнего мальчика-слугу. Но больше всего любил Хааг гнать плеткой голых «дам» сквозь заросли дикой крапивы и колючих кустов и смотреть, как иглы и шипы раздирают в кровь нежную, душистую кожу.)

— Оглох ты, что ли, стервец? Бери бутылку, живо!

Рамон не шевелился, хотя кровь бурлила в жилах, словно хотела вырваться из них, затопить этот дом и людей, перехлестнуть через холм и слиться с водами реки Игуасу, которая там, за спиной сеньора Хаага, спокойно поблескивала, как зеленое зеркало.

(Несмотря на подобные затеи, дни в этом хозяйстве на краю света тянулись бесконечно долго. За стенами бунгало, в лесу, падали огромные кедры, падали, хотя и не с таким шумом, люди, падали под хлыстом капатаса и под пулями. Но ничто не могло развеять силин сеньора Хаага и его тоску по далекой идеальной родине.)

— Ах так? Не подчиняешься, сукин сын? Я тебе покажу!

Немец угрожающе ощерился, глаза его зло сверкнули, револьвер стал медленно подниматься, целясь в грудь Рамона. Толстый палец уже нащупывал курок. Но вдруг голова сеньора Хаага резко откинулась назад, револьвер вылетел из рук, и, грохнувшись об пол, выстрелил; струйка белого дыма потянулась вверх из ствола. Сеньор Хааг, утирая сопли и слезы, ругался на непонятном языке. Ударив его, Рамон снова застыл в неподвижности. Тут подоспел Исмаэль Лобато, равнодушно взглянул на мепсу и отчеканил:

— Сотню плетей, а потом обратно, на лесосеку...

Особенно горько было Рамону оттого, что помогали вязать его те же самые люди, которые, захлебываясь, лили в себя виски под дулом хозяйского револьвера.

Он прямо, без обиняков сказал Фелисио: «Ты меня не трогай, не бей, иначе...» Капатас рассмеялся. Рамон снова повторил: «Не бей, отпусти... Хуже будет...» Капатас рассвирепел и распорядился тут же вложить ему первые пятьдесят плетей. Восемь часов простоял Рамон привязанный к дереву, с окровавленной спиной и пересохшими от жажды губами. Ждал, что вот-вот вернутся «псы» и продолжат порку. Когда стемнело, дышать стало легче. Собрав все силы, напружинив мощные мускулы, Рамон начал мало-помалу освобождаться от пут, перетирая, где удавалось, веревку зубами. А освободившись, рухнул на землю: ноги одеревенели и не повиновались, изувеченная спина болела при каждом движении. В каких-нибудь пятидесяти метрах находился сторожевой пост, но охранник уснул. Остальное уже не отняло много времени. Добраться ползком до ранчо Фелисио и перерезать ему горло его собственным ножом оказалось делом нескольких минут. Достаточно было вспомнить о Фрутосе, и рука не дрогнула. А затем — бегство. Волнующая драма, на которую Рамон смотрел теперь спокойно, как на известный и неизбежный этап жизни. Обманув чутких собак, Рамон направился в сторону спасительной реки. Еще не рассеялась ночная тьма, когда меж древесных стволов металлом блеснула вода. И он подумал, что спасен. Но ему не было известно, что драма бегства еще не кончилась.

ВСКАЧЬ ПО РЕКЕ

Выйдя из лесу к реке, Рамон наткнулся на такуараль — тростниковые заросли. Высокие тростины пригнулись к земле, словно спали или прислушивались к шагам Рамона. Огромная темная грива такуараля разметалась под темным небом. Рамон поднял руку, тоже неузнаваемо темную, и взялся за мачете. С каждым взмахом мачете вспыхивала звезда, а когда она гасла, с тихим стоном падал тонкий отсеченный ствол. Рамон собрал тростины и вынес их к самому берегу. Снова вернулся в такуараль, срезал крепкие лианы исипо и смастерил небольшой плот, связав стебли лианами. Затем в третий раз подошел к такуаралю и подыскал длинный, во много раз выше себя, шест. Внизу, у самых ног, чуть подрагивало черное стекло реки. Он работал не суетясь, но и не теряя времени. Ему не хотелось думать о том, что оставалось позади и что предстояло пережить. Он был всецело занят настоящим — трудным, захватывающим, опасным.

Рамон стянул с себя рубаху и бомбачи и, оставшись в трусах, привязал к плоту связанную в узел одежду. Столкнул плот на воду и влез на него. Стоя на толстых тростинах, тихо скользящих по реке, он прислушался, стараясь уловить подозрительные шорохи в сельве и на воде. Но все было тихо, молчали даже птицы, и Рамон оглянулся вокруг. На горизонте, там, где речная гладь смыкалась с небом, чуть засветлело, и он понял, что медлить нельзя. Размеренным движением воткнул шест в прибрежный пе-

сок — плот дернулся, заскользил быстрее. Еще и еще раз Рамон оттолкнулся шестом. Все мысли словно испарились из головы, которую овевал свежий ночной ветерок, холодивший грудь и ноги. Кругом — необъятное спокойствие воды и ночи. На душе стало радостно и легко. Так же легко, как легко его маленькому плоту скользить по гладкому брюху реки. По обоим берегам лежит сельва, как огромная черная сытая пума, веками не встающая с места, а сам он плывет вперед, и его темный силуэт все четче рисуется на фоне теперь уже бледно-серого неба и вощеной поверхности вод. Вот-вот разгорится рассвет. На душе у менсу было радостно и легко, как у брошенного ребенка, который вдруг узнал ласку матери-реки.

Это случилось внезапно. Будто какой-то великан, притаившийся на дне реки, вдруг вскочил, подкинув плот, как перышко, чтобы бросить его в пучину. Сначала менсу, едва удержавшись на ногах, почувствовал сильный удар снизу, а затем увидел, как перед ним разверзлась грохочущая водяная бездна, куда устремился плот, так страшно трещавший, будто по тростниковым стволам били сотни мачете. Рамон упал, словно кем-то сброшенный с плота, и в ту же секунду его молотом ударило в затылок, затем двинуло в бедро, садануло по ребрам так, что он, задыхаясь, судорожно стал хватать ртом воздух, но воздуха не было... он захлебывался.

Не зная реки в здешних местах, Рамон попал в водоворот Пасо-Сан-Антонио, наводящий ужас на моряков, таящий опасность даже для лоцманов. Плот, а за ним и менсу с высоты грохнулись в яростно бурлившую среди порогов, кипевшую пеной воронку, о которой сложено много мрачных легенд. Но Рамон ничего не чувствовал, кроме боли во всем теле, и, в какой-то миг открыв глаза, смог лишь инстинктивно уцепиться за плот. Теперь оба, человек и плот, волчком завертелись в бурных водах, которые словно желали выместить на них старые наболев-

шие обиды. Едва человек приходил в себя, как от нового удара погружался в тьму бездумия: в голове кружились обрывки неясных воспоминаний, неожиданно ярких видений, и все мелькало, сливалось в какой-то бешеный хаос. А его тело, все еще живое тело, плясало в речном круговороте, билось о камни, как тряпичная кукла, которую швырял вверх и вниз, бросал из стороны в сторону невидимый великан. Низвергавшиеся воды грохотали и ревели так, словно кричали, ревели и стонали все звери сельвы, словно трещали и все разом рушились лесные исполины, словно раскалывались горы. Воды бесновались, клокотали и, казалось, хотели бы затянуть в свои пенные воронки все пароходы, всех людей, разбить их, раздробить, перемолоть и прах развеять с брызгами. Но их необузданная ярость обрушивалась лишь на эту истерзанную куклу, их блажи подчинялся лишь этот мяч из плоти и костей, этот человек, который из последних сил цеплялся за трещавшие обтрепанные тростины, кружившиеся, вертевшиеся в гигантском вихре...

ЗАВОЕВАНИЕ

Сельва гневно протестовала, но никто не желал ее слушать. И, уставая, она часто падала. Вместо некогда густых девственных йербалей лежали коряги, которые со временем сгнили. Бессмысленная рубка, пожары, нашествия варваров быстро уничтожали йербовые рощи. Нет больше леса там, где прошли с топором и огнем всевластные хозяева-йербатеро,— ни в Кампо-Гранде, ни в Сан-Педро, ни в древней Санта-Ане, ни в Палмас-Новас, ни в Кампиньяс-де-Америке, в Пирае и Сан-Хавьере. Подвергшиеся нападению врагов рощи дикой йербы гибли одна за другой. Там, где недавно они возвышались, растет хилый, редкий лесок, жалкая пародия на сельву. Но вот власти, кажется, спохватились. Вынесены робкие половинчатые решения: леса с йербалями объявлены заповедными. И это после того, как великолепные рощи навсегда исчезли почти во всей провинции Мисьонес. От них остались отдельные высокие красавцы деревья, на которые, открыв рот, глазеют туристы в Барранконе и Кампо-Эре. Только на

самом севере Аргентины, в дальних районах Парагвая да в некоторых непроходимых областях Бразилии еще растет зеленое чудо. И в его тени все еще льется пот и звучат проклятия людей на трех языках, смуглых людей, навсегда осужденных на каторжный труд.

Между тем сначала так же робко, как пробиваются из земли первые светло-зеленые ростки, словно бы на ощупь, а затем укрепляясь и утверждая свое неоспоримое господство. развивается промышленность на новой основе, на основе плантаций йербы-мате. Около Сан-Игнасио и Корпуса, Консепсьона, Бомплана и нового поселка Обера выстраиваются длинные шеренги ухоженных кустов. Создаются мощные акционерные общества, которые строят новые, технически оснащенные предприятия; скупают огромные участки земли с помощью продажных чиновников и выращивают вожделенный ilex paraguayensis [1]. *Двадцать крупных латифундистов стали хозяевами аргентинской Альто-Параны: Мартин, Рока, Бемберг, Нуньес, Эррера, Вегас, Ла Плантадора... Первооткрыватели, «пионеры» работают в новых анонимных акционерных обществах в качестве управляющих или техников. Меняются формы и методы выращивания йербы. Большие перемены свершаются на ее родине. Большие события происходят в Альто-Паране, победно шествует по земле новая, культивируемая йерба-мате. Хозяйства теперь не увольняют работников, сезонники тареферо не бродят с места на место. Жестокий гнет и зверские расправы с пеонами уже не так легко осуществить, как в сельве, хранительнице всяких тайн. По хозяева по-прежнему платят менсу ничтожное жалованье, могут выгнать с работы и заставляют по завышенным ценам покупать продукты в своей лавке. Они, по сути, и здесь распоряжаются жизнью пеонов, подчиняют любое их действие своим законам. Даже выпускают собственные деньги — «боны»... Феодальная система не исчезла, она модернизировалась, только и всего. Несметно богата Альто-Парана, но люди никак не могут вырваться из нищеты, освободиться от гнета, спастись от болезней. Однако новые условия существования на плантациях йербы, где жестоко эксплуатируемые пеоны живут в больших поселках, сплотили и организовали людей, подняли их на борьбу. Крупные забастовки 1918, 1919 и 1928 годов, охватившие этот край, а затем и холерные бунты потрясли современ-*

[1] Парагвайский чай, или йерба-мате *(лат.)*.

ных работорговцев, заставили их понять, что кончается эпоха безнаказанного владычества ше-рубиша. Бывший забитый менсу и погонщик мулов становится организованным пеоном, сознательным рабочим будущего. Его тернистый путь отныне освещает огонек: фонарь над входом в скромное ранчо рабочей федерации...

А меж тем, пробившись сквозь годы и десятилетия, прокладывая русло и в наше бурное время, продолжает течь зеленая река йербы, разливаясь по Южной Америке, по ее городам и равнинам, бодря, хотя бы на время, миллионы усталых людей. Но немногие из них догадываются, что этот зеленоватый отвар, булькающий в сосуде-мате, таит страшную трагедию рабочих, пожизненно заключенных в Альто-Паране, в чудесном отечестве йербы, где творятся страшные дела на бурой земле у берегов пенистой реки, которая, как и сельва, все знает, но молчит и ждет.

ВСКАЧЬ ПО РЕКЕ

И летят, летят белые голуби над жестокою бурой землей.

Хуан Е. Акунья

...Лучи только что родившегося солнца лениво облизывали землю, бликами играли на воде. Плот все еще кружился, но медленно, очень медленно, словно подчиняясь какой-то непонятной силе. Он поворачивался к востоку то своей широкой стороной, то разбитым узким боком, где висели обрывки лиан и торчали обломки тростника, а затем — другой стороной, где белели ноги спящего человека, и другим узким боком. И так круг за кругом под солнцем, которое уже высунуло из-за горизонта свое большое красное лицо. Плот будто нащупывал двери в воде, стараясь вырваться из клетки, поворачиваясь то так, то этак. И в своем тихом бесконечном вращении увлекал за собой полдюжины гнилых апельсинов и массу листьев — больших и маленьких, широких и остроконечных, ровных и зубчатых, но скользящих по воде единой распластанной шапкой, сбитых в одно целое окружающими их отбросами и обломками, словно были они кроной одного деревца. Весь этот сор, отметенный в заводь рекой, желавшей блю-

сти свою чистоту,— замшелые бруски, горелые доски, апельсины и ворох листьев,— сонно кружился вслед за плотом, который продолжал описывать нескончаемые круги в тихом речном затоне. Шли часы, а этот медленный, нудный танец все продолжался. Солнце все выше ползло на небо, разгораясь все ярче и обрушивая свой жар, как воду из ушата, на лежащего измученного человека, которого инстинкт, а затем сон спасли от полного поражения, иначе говоря — от смерти.

К полудню этот безмятежный покой и сон были нарушены. Человек открыл глаза и быстро осмотрелся. Он чувствовал, как ноет тело, но теперь уже мог двигать руками и ногами — за восемь или десять часов глубокого забытья каждый мускул, каждая кость, каждый нерв словно встали на место. И все это казалось чудесным и удивительным: он не утонул, не разбился, а крепко сидит на своем плоту. И плот — тот же самый, который он смастерил ночью, и стебли, хотя и пропитавшиеся водой и сохнущие теперь на солнце, забавно потрескивая,— те же самые, которые он срубил своими собственными руками, вот этими большими, узловатыми, темными пальцами, похожими на обрубки ветвей, покрытыми ссадинами и запекшейся кровью. И его вдруг охватила дикая радость оттого, что он жив и свободен. И все вокруг стало казаться таким родным и близким, как эти его натруженные руки и пальцы с плоскими черными ногтями, как эта его голая волосатая грудь и длинные, словно каноэ, ноги с побитыми о камни и покусанными хищной рыбой пальцами, ноги, лежащие на плоту. Все было хорошо, даже однообразное чередование берегов, кружение плота в заводи; все было так знакомо... Но нет, что-то изменилось. Река. Да, эта ровная и сонная река, будто разомлевшая от жары корова, которая, грузно переваливаясь с боку на бок, старается протиснуться меж берегов,— эта река была не той, яростной и безумной, какую он знал несколько часов назад; не была бешеной собакой, желтые клыки которой терзали его несколько минут, казавшихся годами;

ни водяным смерчем, который играл им, как листком, и нес через пороги. Нет. Глядя на маслено-гладкие, мягкие воды, трудно было поверить, что такое вообще могло быть. Он смотрел на кроткую, добрую реку, на ее широкую мирную гладь, на быстрый и веселый бег в стремнине, на ее нежное лизание прибрежных отмелей,— и думал, что больше никогда не будет доверяться ее распахнутым объятиям. Он уже видел страшное лицо Параны и черную бездонную пасть, ощерившуюся остриями скал, готовую растерзать и поглотить его. Только теперь он познал эту реку. Ей более не обмануть его.

Рамон наконец решил выбраться из заводи и с удивлением отметил, что это нетрудно сделать: он стал подгонять плот к середине реки, пока мощное течение не подхватило тростниковую плетенку и не понесло вниз по течению. Сначала Рамону было нелегко стоять на ногах, но затем он обрел устойчивость на своем маленьком плоту, который быстро плыл среди зеленых берегов. Только теперь он увидел, что совершенно гол, ибо узел с одеждой исчез в водовороте, а от трусов не осталось и клочка после дикой схватки с рекой. Брызги летели на его подставленное ветру, заросшее волосами лицо, оставляли влажный след на обветренных губах, открывшихся в широкой — во всю ширь горизонта! — улыбке; обдавали крепкие, как корневища, колени, кололи обнаженный живот. И помимо его воли где-то внутри, под гулкими сводами груди, зародился, созрел в горле и сорвался с губ победный клич, понесшийся ввысь и вдаль, в яркий свет дня. Это был крик из самой глубины души, крик не одного, а многих людей, крик, взлетевший на сильных крыльях, словно Рамон взращивал его в себе с самого детства, долгие месяцы и трудные годы в своем упрямом сердце замкнутого человека, словно вскармливал его своим молчанием, чтобы однажды он взорвал тишину.

— Ого-го-о-о-о!!!

Позади остались издевки Санта Круса, останки Фрутоса и загубленные рощи йербы; позади — смертельный

водоворот, свист плетки по вспотевшим спинам и его маленький, не увидевший света сын; бешеная охота за человеком и надрывный кашель Амелии. Позади осталась целая жизнь, и Рамон безудержно летит к другой на этих хрупких тростинах; держит курс к плантациям йербы в поисках федерации, туда, где людей хотя и притесняют, но где они сплоченно борются за свои человеческие права и где для него наверняка найдется место, ибо он готов бороться за справедливость и достоинство человека, как боролся всегда. И он плыл — как образ всех людских бед, как дыхание горя,— стоя во весь рост, нагой, освещенный слепящим полуденным солнцем.

— Ого-го-о-о-о!!!

Истошный вопль сотрясал прибрежные деревья, отскакивал от мшистых скал и разливался по синему небу, купавшему в потоке света вдохновенно-дерзкого мensу. Расставив ноги на узком плоту, Рамон продолжал путь вниз по течению, перешагнув одну полосу своей жизни и вступая в другую. Но сам он этого еще не сознавал. Его пока радовало лишь неясное ощущение победы над кознями людей и природы, переполняло душу неведомое чувство ликования, которое находило выражение в этом неистовом победном кличе лесорубов над поверженным деревом:

— Ого-го-о-о-о!!!

Срединное быстрое течение реки иногда относило плот ближе к берегу. И тогда женщины-прачки оборачивались и не могли удержаться от смеха при виде странного зрелища: какой-то голый мensу вздымает вверх руки и орет как безумный, возмущая тихий покой полудня. Но ему было не до них, а когда они снова подняли голову, он уже скрылся за поворотом реки, унесясь вниз по течению Параны и оставив им только громовое эхо своего победного крика.

СОДЕРЖАНИЕ

В. Гончаров. Альфредо Варела — человек, писатель, коммунист 3
ТЕМНАЯ РЕКА 23

Варела Альфредо.

В 18 Темная река. Роман. Пер. с исп. М. Былинкиной. Предисл. В. Гончарова. Худ. А. Ерасов. М., «Худож. лит.», 1974.

224 с.

Роман аргентинского писателя Альфредо Варелы, лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» и премии «Золотая медаль мира» имени Фредерика Жолио-Кюри, рассказывает о жизни и борьбе сборщиков дикого чая в лесных дебрях провинции Альто-Параны и о драматической истории любви молодого аргентинца Рамона Морейры и его возлюбленной Амелии. Художественное повествование чередуется с историческими экскурсами автора, в которых описывается завоевание Южной Америки белыми авантюристами.

В $\frac{70304\text{-}273}{028(01)\text{-}74}$ 189-74

И (Латин)

Альфредо Варела

ТЕМНАЯ РЕКА

Роман

Редактор Л. Бреверн

Художественный редактор
Д. Ермоленко

Технический редактор
Л. Ковнацкая

Корректор
В. Фадеева

Сдано в набор 3/I 1974 г. Подписано в печать 22/VII 1974 г. Бумага типографская № 1. Формат 84×108¹/₃₂. 7,0 печ. л., 11,76 усл. печ. л., 12,213+1 вкл. =12,263 уч.-изд. л. Тираж 50 000 экз. Заказ 1065. Цена 81 коп.

Издательство «Художественная литература». Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28